КНИГИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

История советского читателя

(Фрагменты)

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Вот я и на «заслуженном отдыхе». 46 лет работы преподавателем дали не только счастливое моральное удовлетворение, но и сформировали потребность в «отдаче потребителя» – нужны глаза и реакция читателя (слушателя). Без них резко слабеет стимул к творческому высказыванию. Сколько замыслов было, сколько я надеялась ещё написать… И профессионального, и мемуарного, и публицистического. Всё это, пожалуй, не осуществится. Губит доставшийся от отца скептицизм: зачем? кому? да и что я, в сущности, за птица, чтобы претендовать на людское внимание.

И всё-таки, всё-таки… Нет, конечно, просто события моей жизни вряд ли заинтересуют кого-то, кроме сына. Да и личность свою как предмет для изображения я не переоцениваю. Но вот опыт читателя, опыт одного из последних представителей литературоцентричной Советской России… Это – да, что есть, то есть.

Боже мой, сколько счастья пришло ко мне от книжных страниц. Столько не было даже от путешествий, даже от живописи, даже от науки. И вот этот многолетний опыт чтения, опыт восприятия художественного слова, неразрывно переплетённый с жизненным опытом, – да, это может стать интересным. В сущности, это было бы попыткой запечатлеть очертания уходящей книжной Атлантиды.

Мои первые книжки (1951–1959)

Первое отчётливо запомнившееся литературное произведение – «Сказка о глупом мышонке» С. Маршака. Её мне читал отец множество раз – и я, трёхлетняя, неуклонно заливалась слезами после его протяжного:

Прибежала мышка-мать,

Поглядела на кровать –

Ищет глупого мышонка,

А мышонка не видать.

И тем не менее просьбы прочитать эту сказку возобновлялись снова и снова. Почему? Причём, как теперь вспоминается, горячее сочувствие вызывал не мышонок, столь глупо поплатившийся за свои нескончаемые капризы, а мышка-мать. Так старалась угодить сыночку, так старалась! И в итоге – пустая кроватка.

Думаю, что именно тогда пришло первое ощущение непоправимости совершившегося, сострадание выдуманному герою заставило соприкоснуться с трагичностью бытия. Кстати, если не ошибаюсь, это 1951 год – не самое весёлое время и для страны, и для нашей семьи (маминому отцу, Ивану Николаевичу Павловскому, после отбывания десятилетнего срока в Ухтпечорлаге по 58-й статье ещё запрещено проживание в Горьком, и он практически в ссылке – на Дальнем Востоке, в семье младшей дочери, моей тёти Ляли. Мама моя из-за репрессированного отца вынуждена уйти с работы вузовского преподавателя на должность завуча).

Следующее отчётливое «книжное» воспоминание – номер детского журнала «Мурзилка», посвящённый смерти Сталина. Март 1953 года, я уже умею читать, и для меня выписали «Мурзилку», с которым я обращаюсь вполне самостоятельно. Помню траурное чёрно-красное оформление обложки и первые строки открывающего журнальчик стихотворения:

Не поют, не смеются дети,

Не шалят, не глядят в окно.

Даже солнце будто не светит,

Так на сердце у всех темно…

Ну и, конечно, портрет Сталина в траурных лентах. Первое смутное ощущение противоречия: в книжке – одно настроение, а дома, у всех домашних – другое. Понятно, что в семье двух «детей врагов народа» (папин отец, Василий Никифорович Русов, тоже был репрессирован, но отделался двумя годами тюрьмы в 1938–1939 гг.) смерть Сталина не оплакивали.

Первый эпос в моей читательской жизни – «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А.Н. Толстого. До четырёх лет я просила читать мне «Буратино» снова и снова, потом без конца перечитывала – уже самостоятельно. Почему же так полюбился именно этот текст? Главное, пожалуй, заключалось в индивидуальности и неоднозначности характеров всех персонажей. Ведь нечто симпатичное было даже в лисе Алисе, даже в Дуремаре. В сущности, и Карабас Барабас нарисован не полностью чёрной краской, а где юмористические чёрточки (борода, которую можно обмотать вокруг дерева, финальная лужа под дождём), там и неосознаваемое сочувствие к персонажу. Почему-то больше всего негатива выпадало на долю Пьеро. Нытьё я презирала с тех пор, как себя помню. Это подкреплялось и постоянным маминым «Не ной!» в ответ на мои жалобы (правда, редкие и скоро совсем исчезнувшие) на трудности из-за пониженного слуха (двусторонний неврит слухового нерва доставил мне много бед и сложностей, но также рано научил сопротивлению и упорству).

В Буратино же я была просто влюблена! Обаяние независимости и активного действия – к этим человеческим качествам я питаю непре-  
одолимую слабость до сегодня.

И наконец, «Золотой ключик» впервые позволил мне осваивать и осознавать жизнь в её разнообразной протяжённости, ощутить прелесть прихотливого сюжета, притяжение интриги, ждущей разрешения. Почему-то интрига в русских сказках, которые я тоже очень любила и хорошо знала, была лишена непредсказуемости – сказочное действие катилось по хорошо и заранее известным рельсам.

«Ёлка в Сокольниках» А. Кононова тоже из первых книг, прочитанных самостоятельно. Замечательные иллюстрации Н. Жукова запечатлели «лучистую улыбку» Ильича, весело подкидывающего вверх малышку около ёлки. Так началось долголетнее постижение Ленина, преклонение перед которым постыдно долго не покидало меня – вплоть до того, что в 1970-е годы я обзавелась пятитомником воспоминаний о нём, на редкость унылых и безликих. Да, обрабатывали нас умело. Чего стоят темы курсовых работ, которые мы с моим однокурсником Андреем Липовецким писали в первый университетский год, весной 1967 года: я – «Ленин о литературе», он – «Ленин и Горький». Уже тогда мне хватило соображения понять, что Владимир Ильич никакой не филолог (отталкивало, хотя и чем-то привлекало его панибратски-покровительственное отношение к моему кумиру – Льву Толстому, настораживал примитивизм литературных вкусов), и я добросовестно вчитывалась в «Философские тетради», пытаясь отыскать там некие путеводные нити для понимания солженицынского «Ивана Денисовича», который в нашем доме занимал одно из почётнейших мест…

До сих пор помню сюжет и пафос «Голубого винтика» А. Донченко (1955 г.), прочитанного ещё до поступления в первый класс. Дошколятам из детского садика устраивают экскурсию на тракторный завод –   
из-за детских споров, кто из их родителей главнее для изготовления тракторов. Мама главной героини, Софийки, ввинчивает на конвейере последний по счёту крохотный винтик, но без него трактор не двинется с места. Девчушка торжествует: вот какой важный винтик вкладывает в трактор мама!

Ну почему доныне помнится эта, в сущности не самая умелая, прививка тоталитарного сознания? Неужели уже тогда в детском подсознании таился протест – люди (я, мама, папа, бабуся, дедушка) вовсе не винтики? И смешно гордиться таким «винтичным» причастием? Нет, конечно. А вот помнится до сих пор, помнится со стыдом и жалостью. Уже на склоне лет я буду рассказывать своим студентам об этих детских впечатлениях, и аудитория затихнет и задумается.

Я росла в гуманитарной семье: отец – психолог, мама – филолог. Неудивительно, что Пушкин сопутствовал мне буквально с младенчества, тем более что мамина кандидатская диссертация была посвящена его романтическим поэмам. Сказки Пушкина для меня в три-четыре года ещё не имели авторства, сливаясь с общим «сказочным» потоком. Но вот в последнее дошкольное лето в лесу на Свято-озере (где наша семья, вместе с семью-восемью другими, проводила отпуск в палатках –   
и эти отпуска стали одними из драгоценнейших жизненных впечатлений) мама, в ответ на мои нескончаемые просьбы «что-нибудь рассказать», говорит: «Ну хорошо, хочешь, расскажу тебе о дяде и тёте, которые любили друг друга?» И читает мне «Онегина» в отрывках – с письмом Татьяны, с дуэлью, с письмом Онегина, с финальным объяснением. Своё потрясение помню до сих пор. К тому же читала мать изумительно, лучшего чтения я в своей жизни не слышала. Когда мы вернулись в город, я потребовала себе «Онегина» полностью. И прочитала взахлёб. Больше всего подействовала, конечно, волшебная красота и лёгкость стиха. И – Татьяна. Лет шесть после этого (до 12 лет) она моя любимая героиня. Я кинулась тогда и к биографии Пушкина (помнится, у нас был синий томик Н.Л. Бродского 1937 года издания). То, что его жизнь, в сущности, прекрасное произведение искусства, видимо, интуитивно ощущалось, потому что перечитывала я эту биографию (написанную вовсе не детским языком) снова и снова. Классе в восьмом отец принесёт мне из библиотеки Пединститута вересаевскую эпопею «Пушкин в жизни» – и боже мой, до чего величественной и в то же время близкой казалась его фигура!

А когда я училась в четвёртом классе (1958 г.), мама ведёт меня в кино – вышел фильм «Евгений Онегин» по опере Чайковского. Слух мне тогда ещё позволял воспринимать музыку, и Чайковский, конечно, сразил наповал, вплоть до того, что я пыталась перед домашними разыгрывать сцену с няней…

Мама, кстати, сначала посмотрела фильм без меня, и как я помню её восторженные восклицания: «Наташка, какая Татьяна! Какой Ленский!» Живая непосредственность эмоционального отклика – вот что пленяло в ней прежде всего. Она была главным человеком моей жизни, боль от её безвременного ухода в 59 лет (1979 г.) со мной до сих пор.   
В сущности, она задавала камертон всем этическим оценкам моего существования. Любовь к книгам, природе, постоянный интерес к людям –   
всё это от неё. Она знала о неизбежности своего преждевременного ухода и очень тосковала после второго инфаркта, спровоцированного диабетом. «Всё хорошо, Наташа, но мало, мало…» А я пыталась утешить её Твардовским, чьего «Тёркина» она очень любила и часто читала вслух отдельные главы:

Не о смертном думай часе,

В нём ли главный интерес?

Смерть – она всегда в запасе,

Жизнь – она всегда в обрез…

Потом, видимо, мама внутренне смирилась, и мужество её последних двух лет поражало даже врачей. Накануне смерти мы с папой и братом поговорили с ней через окно реанимационной палаты интенсивной терапии – она улыбалась. Отец не успел утром к ней в больницу, она ушла без него, он опоздал буквально на несколько минут, но упросил врача пустить его к ней. Тот разрешил – мама улыбалась…

Дома потрясённый отец сказал мне: «Как она улыбалась… Фантазия!»

Да, надо бы, надо написать воспоминания. Перед листом бумаги так многое всплывает… Но попробую всё-таки придерживаться взятого направления.

Так вот, «Онегин». Он со мной до сих пор, знаю его чуть ли не на-  
изусть. В детстве домашние смеялись над моей влюблённостью в Татьяну, особенно иронизировал над этим «романтизмом» Серёжа, которого я безуспешно старалась заразить и портретом, и письмом, и благородством пушкинской героини. Но вот классе в шестом до меня стала доходить ирония Пушкина, его бесстрашие в изображении пошлости и трагизма жизни – и Сергей начал прислушиваться ко мне:

Она езжала по работам,

Солила на зиму грибы,

Вела расходы, брила лбы…

и т. д., и т. п.

А потом, потом… В юности я всей кровью почувствую, что нет лучшего изображения всепоглощающей страсти, как в письме Онегина:

Нет, поминутно видеть вас,

Повсюду следовать за вами,

Улыбку уст, движение глаз

Ловить влюблёнными глазами…

Это гениальное «глаз – глазами»…

Да, много, много было моих «открытий» в этом неувядаемом, волшебном, бездонном тексте. А сейчас… Сколько мужества мне придаёт последняя строфа:

Блажен, кто праздник жизни рано

Оставил, не допив до дна

Бокала полного вина,

Кто не дочёл её романа

И вдруг умел расстаться с ним,

Как я с Онегиным моим.

Моё детство – это послевоенные годы, 1948–1955. Отец не только прошёл Великую Отечественную «от звонка до звонка», но и участвовал во вхождении советских войск в Прибалтику (был в армии с 1939 года). Многочисленные военные герои и книги о них сопровождали меня до 1960-х годов. И почему-то ничто так не запало в детскую душу, как скромный томик в бумажной обложке цвета хаки: Е.Н. Кошевая «Повесть о сыне». Почти сразу же я прочла «Молодую гвардию»   
А. Фадеева, но эмоционального потрясения практически не последовало. Записки Елены Николаевны покоряли безыскусственностью, не подчёркнутым, не надрывным, но тем сильнее хватающим за сердце материнским горем, гордостью за так жданного и любимого единственного сына. До сих пор помню строчку оттуда (жаль, книжка затерялась): «Мой сын, которому не было и 16 лет, лежал передо мной седой…»

Конечно, было преклонение перед подвигом, было тайное допрашивание себя: «А я смогу?» Но запомнилось мне и первое в жизни сопоставление книги и похожей действительности, «лично знакомой и известной». Дело в том, что растила меня лет до восьми Кока – старшая сводная сестра бабуси, маминой матери. Елена Алексеевна Чупрунова – Кока – очень меня любила (кстати, она первая указала матери на мой физический недостаток: «А Наташка-то не слышит!»). Но жизнь её сложилась трагически: рано овдовев, всю любовь и надежды она отдала единственному сыну, Коле Чупрунову. И когда он пропал без вести в первый же год войны, Кока не выдержала – начала пить. К моим семи-восьми годам жить в нашей семье ей стало не по силам, и она ушла «на квартиру», где вскоре и умерла. Помню, как она, пьяненькая, подходила к каменным воротам в наш двор и подзывала меня «поговорить». Я подходила, но пьяных я страшно боялась, и свидания эти были мучительными.

В разговорах с мамой я как могла защищала Коку, и однажды мама, не выдержав, бросила: «А помнишь Елену Николаевну? Какого сына потеряла! Но ведь не доходила до такого…» Только довольно долгое время спустя я нашлась, что ответить. Горе Е.Н. Кошевой было «на миру», сын ушёл признанным героем, её как могли поддерживали все –   
и официально, и неофициально.

Да, «Молодая гвардия»… И роман Фадеева, очень популярный, кстати, входивший в школьную программу, – его не просто читали, его герои были любимыми для множества моих сверстников: для кого – Олег (как для моей ближайшей студенческой подруги Сони), для кого –   
Серёжка Тюленин, для кого – Уля Громова. Позже, много позже откроются светлые и тёмные тайны краснодонского подполья, я буду увлечённо и взволнованно отыскивать разные подробности, но святость этих подростков для меня очевидна и незыблема до сих пор.

Русские народные сказки (и не только русские) были моим постоянным чтением класса до четвёртого, да и позже я их с удовольствием перечитывала. Многие сборники помню на глаз, на ощупь, на запах… Трудно сформулировать причины этого пристрастия, тем более что и «взрослого» чтения в эти годы было предостаточно. Особенно привлекали сказки волшебные, насыщенные приключениями, «неведомым и невиданным». Нравилось разнообразие сюжетных узоров, вышитых по единой канве, но всякий раз по-разному, гармоничное сочетание нарратива и языка, психотерапевтический эффект благополучной развязки, и главное, пожалуй, нравились характеры центральных персонажей – Ивана-дурака, Василисы Премудрой, Бабы-яги. Формировались первые представления о противоречиях национального характера: внешнее может (чуть ли не должно!) противоречить внутреннему, придурковатость оборачиваться красотой и удальством, лень и растяпистость – способностью к подвигу и упорством, женщина может (и должна!) быть умнее и сильнее мужчины, стать его опорой и надеждой…

Как ни странно, первые школьные годы не принесли значимых перемен в круге моего чтения, наверное, потому, что он и так был достаточно велик и расширялся по другим причинам. Разве только упомянуть довольно стойкое, с третьего по пятый класс, увлечение астрономией? Ему способствовало постоянное посещение детской библиотеки, которая располагалась рядом с нашим домом, на соседней улице, и куда я, конечно, ходила самостоятельно. Я перечитала всё, что там было «астрономического», и не фантастику, а научно-популярную литературу. Отчётливо помнится увлекательнейшее «Солнечное вещество» М. Бронштейна – и как отзовутся эти детские впечатления, когда уже в 2000-е годы я прочитаю трагический «Прочерк» Л.К. Чуковской о своём расстрелянном муже.

Одним из аппетитнейших кусков моего книжного пирога оказались романы Ж. Верна: «Дети капитана Гранта», «20 тысяч лье под водой», «Таинственный остров». Впервые открылась огромность мира (я даже рисовала на глобусе маршрут экспедиции Гленарвана) и реальные подробности постоянной битвы за существование. Кроме того, до кончиков пальцев проникало редкое удовольствие «делания», которым пропитан «Таинственный остров» – пожалуй, одно из лучших пособий для воспитания радостного трудолюбия. Помню ещё чувство счастливого удовлетворения: оказывается, плохих людей (таких, как Айртон) в мире очень мало – по пальцам пересчитать (да и те могут исправиться).

Обычный круг детского чтения: сказки, путешествия, научпоп.   
В четвёртом классе подошла очередь детективов: подружка дала прочитать «Собаку Баскервилей». До сих пор считаю повесть Конан Дойля «лучшим детективом всех времён и народов». Она да ещё несколько позже за одну ночь проглоченный «Лунный камень» У. Коллинза на всю жизнь прививают мне страсть к мастерски написанным историям розыска, и уже в зрелом возрасте я от души соглашусь с восклицанием Ахматовой: «Ночь с детективом – это прекрасно!» Лучшего средства разрядки, интеллектуального отдыха, отвлечения от мелких бед и неприятностей просто не знаю (крупные бедствия – другая статья). Вот только детективы обязательно должны быть «со знаком качества» –   
с увлекательным и нестандартным сюжетом, аппетитными подробностями, живым, ярким и ненавязчивым языком. С первыми прочитанными детективами мне повезло, я получила пожизненное противоядие для отторжения низкопробного чтива, какой бы закрученной ни была соответствующая интрига, и все советские истории «про майора Пронина» и кагэбэшников с усталыми добрыми глазами равнодушно пропускались.

Нет, если автору удаётся вылепить обаятельного и узнаваемого главного героя и создать пусть не особо правдоподобный, но уютный мир сыщицкого розыска – такие вещи читать можно. До сих пор отдаю должное Аркадию Адамову, Александре Марининой, Полине Дашковой. Но это, пожалуй, и всё. Зарубежные детективы, коими полны современные прилавки, отталкивают количеством усилий, которые необходимо приложить для вживания в незнакомую и чужую действительность: тем самым теряется главная функция этой литературы – функция отдыха.

Как появлялся вкус к литературе реалистической, моделирующей мир в тех событиях, портретах и подробностях, которые позволяют соотнести с книжными страницами себя, близких, окружающее? Из опыта детского (до одиннадцати лет) чтения вспоминаются романы Г. Мало «Без семьи» и В. Каверина «Два капитана». Всё-таки без интригующего сюжета детская книга состояться не может, а от обоих романов оторваться просто невозможно. Сочувствие и сопереживание обездоленному Реми (главному герою Мало) запомнились ещё Марине Цветаевой (см. «Мать и музыка»), а обаяние действия во имя страны, которым пропитаны страницы каверинского текста, живо в сердце до сих пор. Каверин доныне один из самых любимых мною советских писателей – думаю, из-за юношеской чистоты его души, которую он сумел сохранить незапятнанной. Строгая и пылкая страстность его моральных оценок заставляет меня вновь и вновь перечитывать мемуарные «Освещённые окна» и «Эпилог». Полное сдержанного трагизма повествование о судьбе любимого старшего брата, замечательного медика и биолога Л. Зильбера, отбывшего срок в сталинских лагерях, сжимает горло. Очень люблю повесть «Перед зеркалом» о художнице Лизе Тураевой; на мой взгляд, редко встречается в нашей литературе столь проникновенное постижение творческой женской души и её не-  
укротимого стремления сохранить себя живой и действующей.

Немаловажным последствием такого погружённого в книги детства, как моё, оказалось непоколебленное до сей поры убеждение: литература – важнейшая часть как окружающего мира, так и моего собственного существования. И мало что сравнится с ней по степени необходимости.

Отрочество (1960–1963)

Отчётливо помню событие, с которого кончилось детство и началось отрочество, другими словами, осознание себя как отдельной личности: это моё месячное пребывание в больнице в январе 1960 г. (мне 11 лет) с миокардитом. Родителей не пускали даже с краткими посещениями, только записки и передачи. К тому же именно в это время мне пришлось надеть очки. Сознание собственной ущербности, непоправимого отличия от других было очень болезненным, следовало как-то справиться с этим. Как всегда, помогли книги. Я подружилась с самой старшей девочкой в палате – Тэла Бернштейн училась уже в девятом классе, но нам всегда было о чём поговорить. Она как раз недавно прочитала «Овода» Э.-Л. Войнич, её рассказы меня заворожили, и вот после выпис-  
ки она вручила мне долгожданный томик.

Артур Бертон, Феликс Риварес, Овод стал одним из любимейших моих героев. Преодоление себя, собственного страдания, мужество сопротивления обстоятельствам во имя большой цели – всё это сыграло огромную роль для становления ещё детского характера, потребовало ставить перед собой значимые и нелёгкие задачи. В сущности, Оводу я обязана и своей золотой медалью, и красным дипломом, и упорством в научной работе. А ещё надолго заворожила тайна личности, обаяние и неразгаданность характера. Неосознанно я пыталась подражать ему даже в мелочах, интригуя подруг своими фантазиями и выдумками. Предсмертное письмо Овода к Джемме помню до сих пор наизусть:

*Дорогая Джим!*

*Завтра на рассвете меня расстреляют. Я обещал сказать вам всё, и если уж исполнять это обещание, то только сейчас. Впрочем, к чему пускаться в длинные объяснения? Мы всегда понимали друг друга без лишних слов. Даже когда были детьми…*

Сколько слёз я пролила над этим письмом. Спустя некоторое время мама раздобыла томик Э. Войнич с обоими романами о Риваресе («Овод» и «Прерванная дружба») и подарила мне с такой надписью: «Наташа! Дарю тебе твою любимую книгу, над которой мы вместе плакали. Но больше слёз не нужно – мужество и борьба!»

Как мать понимала меня, и сколько мужества понадобилось ей самой, чтобы не унижать моё детство и отрочество бесплодным сожалением и бесполезным сочувствием к моим болячкам. Хотя иногда отчаянно хотелось, чтобы тебя пожалели. Но именно этой мудрой жёсткости я обязана тем, что окружающие никогда не считали меня неполноценным инвалидом, что я всегда оставалась «на коне» в жизненных ристалищах.

Слёзы над книгой… Счастлив ребёнок, счастлив взрослый, испытавший это. Помню, как мама, несколькими годами позже, озабоченно жаловалась мне, что Коля (мой младший брат) не плачет над книгами, и с каким торжеством мы обе заметили его первые слёзы над «Поднятой целиной», когда гибнут Давыдов и Нагульнов.

Трудно, почти невозможно осваивать эмоциональный опыт человечества вне искусства. Да и собственные унижения, беды, горести преодолеваются не то что легче, но как-то сдержаннее и успешнее, когда сформировано в твоей душе пространство героев, событий, строчек, звуков, картин.

Повлиял на меня и культовый советский роман «Как закалялась сталь» вкупе с канонизированной биографией его создателя – Николая Островского. Но в гораздо меньшей степени. Впервые зарождается мысль, что есть писатели и поэты «от Бога», а есть – «от биографии». Необычайность прожитого, интенсивность пережитого, подлинность и глубина чувства могут заставить человека весьма средних способностей и таланта выдать на-гора значимое и нетленное произведение. Такое впечатление у меня по сию пору держится от цикла «С тобой и без тебя» Константина Симонова и от некоторых стихотворений   
О. Берггольц (да простит меня Ольга Фёдоровна, чей талант, безусловно, крупнее, мощнее, трагичнее симоновского).

Для меня главным в фигуре Н. Островского остаётся факт единоборства с ужасной болезнью, лишившей его зрения и движения. В сущности, этого достаточно.

На очередной день рождения (20 июня 1960 года) Серёжа подарил мне книжку А.Я. Бруштейн «Дорога уходит в даль», и до сих пор со мной остаётся воздух душевного здоровья, которым дышат все её страницы. Если вы хотите вырастить хорошего человека (а кто из родителей этого не хочет?), дайте ребёнку прочитать трилогию Александры Яковлевны («Дорога уходит в даль», «В рассветный час», «Весна»). Очень мало в русской, да и мировой, литературе таких правдивых, искренних, обаятельных и живых книг о подростках – их дружбе, учёбе, первых столкновениях с действительностью. С начальных строк возникает полное доверие к персонажам и их действиям, стремление перенести изображаемые события и характеры на себя, на свой ближний круг, а также чувство, что автор попросту очень хороший человек.   
И знает много больше, чем говорит. До сей поры помнится её обращение со страниц своей книги к любимому отцу:

*Папа мой, папа!.. Через пятьдесят лет после этого вечера, когда мы с тобой «кутили», тебя, 85-летнего старика, расстреляли фашисты, занявшие наш город. Ты не получил даже того трёхаршинного домика, который тебе сулила Юзефа, и я не знаю, где тебя схоронили. Мне некуда прийти сказать тебе, что я живу честно, никого не обижаю, что я тружусь и хорошие люди меня уважают… Я говорю тебе это – здесь.*

Та же Тэла Бернштейн заразила меня интересом и любовью к Тургеневу. Она восхищалась Базаровым («Мне нравится даже его грубость!»), и с её лёгкой руки я кинулась к «Отцам и детям», «Накануне», «Дворянскому гнезду». Нет, к Базарову меня привлёк не бесшабашный нигилизм, не эпатаж, не страсть к разрушению. Привлекла его человеческая мощь, его способность к героическому и крупному действию, которые ярче всего обнаруживаются в ключевом эпизоде его смерти. Как написал эту сцену Тургенев! Спустя многие годы именно эту смерть-действие, смерть-поступок я выберу для анализа в своей хрестоматии «Читаем русскую прозу», и мой тогдашний соавтор Вася Шевцов скажет, прочитав мой комментарий: «Да, чувствуется ваше личное отношение…»

Может быть, это покажется неожиданным, но тургеневские девушки и женщины навсегда отвратили меня от многословия и уж тем более от сентиментальности в высказывании собственных чувств. Чего стоит объяснение Елены с Инсаровым в «Накануне»:

– Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю, – прошептала она, – вот… я сказала.

Или последняя встреча Лизы Калитиной с Лаврецким:

– Нет, – промолвила она и отвела назад уже протянутую руку, – нет, Лаврецкий… не дам я вам моей руки. К чему? Отойдите, прошу вас. Вы знаете, я вас люблю… да, я люблю вас, – прибавила она с усилием, – но нет… нет.

Помню, как поразил меня уход Лизы в монастырь, как инстинктивно я всеми силами отталкивалась от её решения, каким чуждым оно мне было. Я тогда приставала ко всем домашним с просьбой ответить на вопросы шутливой Марксовой «Исповеди», и дед – Иван Николаевич Павловский, бывший для меня неоспоримым и загадочным авторитетом, своей любимой героиней назвал Лизу Калитину, а любимым героем – князя Мышкина. Только тогда я смутно начала понимать, какая сила и цельность характера скрывалась за Лизиным поступком.

Серёжа, подсмеивающийся над моим «романтизмом», тем же летом 1960 года заставил меня прочитать «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». Впервые я с головой окунулась в смеховую стихию юмора, почувствовала притягательное бесстрашие сатиры. Кстати, тайна смеха в искусстве так и остаётся для меня неразгаданной. Возможно, люди до сих пор хохочут над похождениями и репликами Бендера из-за его человечности, из-за того, что Остап, безусловно, самый привлекательный персонаж дилогии. Он смеётся и даже издевается над людьми, не унижая и не уничтожая их – унижают и уничтожают его самого. Недаром И.Г. Эренбург в своих воспоминаниях мимоходом нарекает его «милым плутом». (Именно с этих пор поселяется во мне стойкое недоверие к предисловиям и послесловиям советских изданий: в предисловии к так полюбившимся мне романам Бендер безжалостно разоблачался.)

На тринадцатом году я открываю для себя Толстого. «Война и мир» в нашем доме была в огромном однотомнике большого формата, который трудно удерживался в руках, и я одолевала роман, сидя на скамеечке перед широченной родительской тахтой. Конечно, первое прочтение было поверхностным – ведь я честно, без пропусков, продиралась сквозь всё непонятное и по тем моим годам малоинтересное. Но живая противоречивость характеров, правда диалогов, подлинность мельчайших душевных движений, неудержимая радость жизни надолго сделали этот роман одним из самых любимых. В десятом классе мне посчастливилось не «пройти», а прожить «Войну и мир» вместе с Блюмой Яковлевной Княжицкой, нашей тогдашней учительницей литературы. Кандидат филологических наук, ученица А.А. Белкина, она была незаурядным филологом и страстным, ироничным просветителем. Мы написали по «Войне и миру» 17 классных сочинений! В основном это были анализы отдельных эпизодов, и её вопросы, её саркастическое хмыканье заставляли глубже и глубже вгрызаться в толстовский текст. Загадка Наташи. Загадка Сони. Выбор между Пьером и князем Андреем (для меня сразу и навсегда – Андрей!). «Диалектика души» – в чём, как и где она проявляется? И всегда ли эта диалектика нравственна? Именно тогда начало складываться новое отношение к литературе: менее непосредственное, рефлектированное, аналитическое. Но страсть к художественному слову даже выросла.

Главное, что мне дал этот великий роман, – ощущение радости и принятия жизни. «Войну и мир» создавал гений, находящийся на вершине доступного ему человеческого счастья: Толстой воевал, путешествовал, завершил предварительный этап душевных поисков, рядом с ним молодая и горячо любимая жена, появились первые дети, радует покой своего имения – и на фоне всего этого полный расцвет сил и таланта. «И увидел Бог, что это хорошо…» Недаром на последних страницах эпопеи подросток мечтает о будущем подвиге. Мало таких концовок в русской литературе.

Не могу не упомянуть о первом соприкосновении с толстовской философией. Её мощь и обаяние помогли мне, пусть и неосознанно, сопротивляться официальному историческому материализму, которым нас неуклонно пичкали и в старших классах школы, и во время пятилетнего университетского марафона. «Слова случай и гений не обозначают ничего действительно существующего и потому не могут быть определены. Слова эти только обозначают известную степень понимания явлений…» Диалектика Толстого касалась не только человеческой души.

Уроки литературы интегрировали в себе всё: живую историю страны, этику, философию, психологию, художественную культуру. Мои школьные годы (1955–1966) совпали с хрущёвской оттепелью, и как старались наши учителя распахнуть перед своими питомцами двери в открывающееся пространство! С пятого класса литературу у нас вела Анна Акинфиевна Вишнякова. После гибели на финской войне любимого мужа, М.И. Быкова (посмертно он был удостоен звания Героя Советского Союза), она всю себя – без преувеличения – отдавала своим ученикам. Помню, в шестом классе мы на уроке русского языка проходим однородные члены предложения, и она пишет на доске:

Метель лепила на стекле

Кружки и стрелы.

И задумчиво добавляет:

Свеча горела на столе,

Свеча горела…

А ведь шельмование Пастернака уже состоялось, имя его не было принято упоминать, тем более на школьных уроках.

Очень жаль, что в те годы в школьной программе отсутствовал Достоевский. Конечно, мимо меня он не прошёл, и первым толчком стал уже упоминавшийся ответ деда на вопрос о его любимом литературном герое: князь Мышкин. В 13-14 лет «Идиота» постигнуть невозможно, поэтому отчётливо помню восхищение блестящей первой частью, сценой с горящими деньгами в гостиной Настасьи Филипповны – и горестное недоумение перед дальнейшим повествованием о происшествиях на павловских дачах. Я и сейчас далека от безоговорочного включения князя Мышкина в пантеон своих любимых героев, но роману – роману полностью отдаю должное. К Достоевскому пришлось подбираться постепенно: от «Неточки Незвановой», «Униженных и оскорблённых» к «Преступлению и наказанию» и «Братьям Карамазовым». Этот последний я прочла уже студенткой, и вот он-то пронял, что называется, до печёнок. Когда, по моему настоянию, «Карамазовых» прочитал младший брат Коля (с которым я была очень дружна вплоть до его женитьбы), мы проговорили с ним до трёх часов утра. «Принимаю Бога прямо и просто, но я мира этого божьего не принимаю и не могу согласиться принять». (Знаю, что цитата неточная, но просто мне так запомнилось и понравилось.) Иван остался одним из любимейших моих героев.   
А вот Алёша… Его обаяние до сих пор не то что недоступно, а чуждо. Какая-то фальшь проглядывает во всех героях этого плана у Достоевского. Возможно, они могут достучаться до сердец только истинно верующих людей? Не знаю.

Для растущего человека очень важно бесстрашное умение Фёдора Михайловича докапываться до самых тёмных глубин нашего сознания. В юности часто пугаешься неожиданных желаний, грешных соблазнов, неодолимых внезапных порывов сделать или подумать что-то заведомо запретное и осуждаемое обществом. Достоевский вытаскивает эти вещи наружу и объективирует их. Нет лучшего пособия для собственного психоанализа и аутопсихотерапии.

В зрелом же возрасте наступил этап постижения «Бесов», и не для меня одной – со второй половины 80-х многие начали задумываться о глубинной сути большевистского переворота и его связи с нашим национальным характером и неискоренимыми традициями. К тому же Достоевский угадал нечто очень важное, неостановимое и страшное в развитии человеческого рода в целом: хочешь разобраться в корнях массового терроризма, повседневной жестокости, возрождающихся тут и там тоталитарных режимов – перечитывай «Бесов»…

Вспоминая своё постижение двух наших гениев – Достоевского и Толстого, я не нахожу той пропасти между ними, о которой так убедительно поведал В.В. Вересаев в своей «Живой жизни». Да, разные. Невероятно разные. Но оба равно необходимы. Если Толстой в конечном итоге славит жизнь и учит бояться только равнодушия и спокойствия (которое, по его словам, душевная подлость), то Достоевский зовёт к вызову, бунту, одновременно предостерегая от неизбежных опасностей на этом пути.

В конце 1962 года грянул Солженицын. Номер «Нового мира» с «Иваном Денисовичем», конечно, был раздобыт, зачитан до дыр всей семьёй и занял почётное место в библиотеке. Безоговорочное, восторженное принятие повести в нашем доме столкнулось со множеством осторожных замечаний в других семьях. «Да, талантливо, интересно, но… Где сопротивление? Где осуждение Сталина? Где настоящие коммунисты?» И т. д., и т. п. Отторжение и непонимание главного героя встречалось достаточно часто. Только в зрелом возрасте у меня сложится твёрдое убеждение, что это лучшая художественная проза Солженицына, на уровне гениальности (хотя сам он, видимо, так не считал). Врезалось в память, как в первые дни после внезапной и безвременной маминой смерти мой младший брат не отрываясь перечитывал «Один день…». Каждый в нашей осиротевшей семье изо всех сил старался справиться с горем, и Коле, видимо, ощутимо помогала неиссякаемая, хотя и трудно объяснимая жизнестойкость, волнами исходящая от солженицынского текста.

А первой печатной искоркой так необходимой обществу правды в нашей семье стала далеко не всеми замеченная документальная книжка С.С. Смирнова «Герои Брестской крепости», в которой глухо, но достаточно отчётливо говорилось о том, что большинство этих героев после окончания войны были репрессированы. Именно тогда мой дед Иван Николаевич Павловский написал автору письмо, начинавшееся словами: «Дорогой Сергей Сергеевич! Я один из тех, “кто вынес всё: тоску неволи, кошмар мучительных ночей…”» Дед задавал главный вопрос: не пришло ли время во весь голос сказать о жертвах сталинизма? назвать хотя бы самых бесчеловечных палачей? (Он упоминал фамилию Кашкетина, одного из самых изуверских начальников в Ухтпечорлаге.) И Смирнов ответил: к сожалению, время это ещё не пришло…

Подростковое чтение извилисто и прихотливо. Расскажу об одном вкусовом «зигзаге», который так и не забылся. К хорошей поэзии меня приучили с детства, к тому же, как я уже упоминала, мама замечательно читала. В общем, стихи самых разных (но, как правило, хороших) поэтов были моими постоянными спутниками. И вот в шестом классе мне попалось стихотворение Виктора Гусева «Слава» – и до страсти понравилось. Много раз я декламировала его одноклассникам, кстати, с неизменным успехом. В тексте изложена обыкновеннейшая история о поиске таланта: у девушки обнаруживается талант певицы, у юноши –   
нет, но он успокаивает себя будущим «знаменитого токаря». Стихи звонкие, небесталанные, логика и обаяние типично советского жизненного успеха преподнесены читателю безупречно. И всё же банальность, даже пошлость стихотворения очевидна. А вот помнятся строчки до сих пор:

…Нет, я не хвастаю, Маша.

Но помечтать я вправе.

Я знаю свою силу,

Я знаю свою страну.

Так спой на прощанье песню

О доблести и о славе,

И я, невзирая на голос,

Всё-таки подтяну!

Сколько мы с друзьями спорили: можно ли мечтать о славе? нужно ли? Может быть, сказалась юношеская боязнь исчезнуть? уйти без следа?

К счастью, через год наступил Блок. Иначе и не скажешь: наступил, как наступает лето, зима, весна. Эта стихия, эта музыка, эта тайна заворожили и остались навсегда. Понимание, постижение, вчитывание… Можно сказать, что мой Блок рос вместе со мной. Как Пушкин. Порой перечитывание Блока приводило меня к нестандартным выводам. Задолго до того, как обнаружить соответствующую работу М. Волошина, мне стало казаться, что Христос в «Двенадцати» оказывается впереди красногвардейского патруля просто потому, что двенадцать «с кровавым флагом» гонятся за ним, а он без труда скрывается от них в «снежной россыпи жемчужной». Такое объяснение устраивало меня гораздо больше всех общепринятых толкований.

С юности поразило меня в облике Блока – поэта и человека – то, что я про себя называла «поэтической обречённостью»: постоянное, то вольное, то невольное, стремление обнаружить в собственном существовании всё, достойное поэтического воплощения, и добиться этого воплощения – любой ценой:

…И, вглядываясь в свой ночной кошмар,

Строй находить в нестройном вихре чувства,

Чтобы по бледным заревам искусства

Узнали жизни гибельной пожар!

«Как тяжело ходить среди людей…» 1910

В который раз убеждаюсь, кстати, как важна для подростка музыкальность стиха, его лакомая произносимость. «О доблестях, о подвигах, о славе…» Хочется повторять и повторять, проговаривать и проговаривать – вслух, про себя, товарищам. Пожалуй, именно тогда просыпается моя склонность, даже страсть к просветительству – отдать, поделиться, заставить другого ощутить открывшуюся тебе тайну и красоту. Много позже я напишу несколько книг с культурологическим комментарием художественных текстов, они будут иметь успех. А началось всё тогда, в 14 лет.

Мне четырнадцать лет.

ВХУТЕМАС

Ещё – школа ваянья…

Раздаётся звонок.

Голоса приближаются: –

Скрябин.

О, куда мне бежать

От шагов моего божества!

Б. Пастернак. «Девятьсот пятый год»

Вспоминая советскую литературу моих 13–15 лет (1961–1963 гг.), я нахожу, что лучшие её произведения на редкость соответствовали жадному желанию постичь и принять окружающее, обнаружить и занять своё место в жизни – желанию, которое так свойственно подростку. До сих пор благодарно помнятся два «производственных» романа: «Иначе жить не стоит» В. Кетлинской и «Битва в пути» Г. Николаевой. Притягательность жизни по призванию, о которой так убедительно свидетельствует Кетлинская, действовала не только на меня, прочитать эту «очень замечательную» книжку мне советует в письмах из Ленинграда троюродная сестра Таня, с которой мы очень дружили, несмотря на четырёхлетнюю разницу в возрасте. И роман-то о шахтёрах, газовиках, но как аппетитно передана радость молодого открытия, страсть борьбы за его реализацию, вера в жизненную необходимость твоего труда… Позже я прочитаю яркие лаконичные наброски незавершённых сюжетов в книге Веры Казимировны «Вечерние окна», её мемуары и снова порадуюсь таланту эмпатии, с которым она доносит себя и свой мир до читателя.

«Битву в пути» у нас прочитала вся семья. Неудивительно: судьба Тины и её расстрелянного при Берии отца перекликалась с опытом моих родителей. Но дело было не только в «правде жизни». Обаяние этого романа – в лиричности интонации, в живом пульсе трагедии и её преодоления, в торжестве неудавшейся любви. Как почти всегда после понравившейся и поразившей книжки, я выискивала и проглатывала другую прозу Галины Николаевой, её стихи, позже – её предсмертные записки «Мой сад» (она безвременно скончалась от болезни сердца) и архивные публикации, воспоминания о ней. Мама даже побывала на её выступлении в нашем городе (приезжала она вместе с мужем,   
М. Сагаловичем). Безусловно, как человек она была крупнее своих произведений. Она из тех, у кого художественность слова в значительной степени обусловливается напором незаурядного жизненного материала, незаурядностью эмоционального строя души. «Битва в пути» обнаружила это в полной мере. В сущности, прекрасный роман. Даже парторг Чубасов вызывает симпатию, не говоря уже о главном герое Бахиреве. Особенно если по контрасту вспомнить появившегося в те же годы «Секретаря обкома» В. Кочетова, роман, который я тоже прочитала – и захлопнула книжку, ощутив отчётливый привкус картонности и патоки.

У мамы с её студенческих, совпавших с военными, лет сохранилась потрёпанная продолговатая книжечка, в которую она вписывала запомнившиеся стихотворения. Именно там я нашла почти весь симоновский цикл «С тобой и без тебя». Он сразу и навсегда стал одним из моих любимых, и до сих пор почти весь его помню наизусть. Сколько раз я читала эти стихи в самых разных – по возрасту, интеллекту, социальному положению – компаниях! В турпоходах, в домах отдыха, на дружеских вечеринках, в студенческой аудитории… Отклик был неизменно искренним, тёплым, часто восторженным:

…Но если опоздать случится мне,

И ты, меня коря за опозданье,

Услышишь вдруг, как кто-то в тишине

Шепнёт, что бесполезно ожиданье, –

Не отменяй с друзьями торжество.

Что из того, что я тебе всех ближе,

Что из того, что я любил, что из того,

Что глаз твоих я больше не увижу?..

«Хозяйка дома»

Безусловно, этот цикл – лучшее, что есть у Симонова, то, что останется навсегда. Настоящее, большое чувство, данное в своём беспощадно правдивом развитии, да ещё в экстремальной ситуации войны, –   
немногим поэтам выпадает такая удача, и немногие смогли так полно её реализовать. Позже я прочитаю всё, что удастся раздобыть об истории этой любви и её героине, догадаюсь, что Валентина Серова была, пожалуй, крупнее и интереснее Симонова и по талантливости натуры, и по человеческим качествам, но обаяние Константина Михайловича как мужчины и воина, обаяние его мужественной и бесконечно честной поздней самооценки не померкнет.

Всматриваясь в отдельные картинки своего отрочества, ещё раз нахожу в них подтверждение, что Советская Россия была «суперлитературоцентричной» страной. Разговорами о книжках сопровождались почти все шатания с одноклассниками по городу, ещё детские вечеринки и дни рождения, долгие возвращения из школы с взаимными провожаниями друг друга. В нашем кругу не было принято прогонять детей с домашних праздников и застолий, за которыми тоже обсуждались книжные новинки, включался магнитофон с Галичем и Окуджавой (Высоцкий появится позже), читались стихи. Помню, как я «суфлировала» Александру Познанскому (одному из популярнейших нижегородских чтецов), который вдохновенно декламировал в нашей гостиной есенинское «Письмо к женщине»:

Вы помните,

Вы всё, конечно, помните,

Как я стоял,

Приблизившись к стене,

Взволнованно ходили вы по комнате

И что-то резкое

В лицо бросали мне…

Жаль, что это ушло. Живое слово – не скайп, не экран смартфона…

Много позже я прочитаю в прославленном эссе «Меньше единицы» характеристику, которую Иосиф Бродский дал своему поколению, и от души порадуюсь, что мои сверстники обрели и сохранили в себе что-то похожее:

…Мы были ненасытными читателями и впадали в зависимость от прочитанного… Диккенс был реальней Сталина и Берии. Романы больше всего влияли на наше поведение и разговоры, а разговоры наши на девять десятых были разговорами о романах…

По своей этике это поколение оказалось одним из самых книжных в истории России – и слава Богу. Приятельство могло кончиться из-за того, что кто-то предпочёл Хемингуэя Фолкнеру; для нас Центральным Комитетом была иерархия в литературном пантеоне. Начиналось это как накопление знаний, но превратилось в самое важное занятие, ради которого можно пожертвовать всем.

1964–1966

Вопреки устоявшемуся мнению, юность кажется мне одним из самых несчастных периодов человеческой жизни. Никогда больше не испытываешь такого бешенства желаний и не имеешь такого малого пространства возможностей для их осуществления. Очень нелегко также ощутить и осознать себя не просто личностью, а женщиной (или мужчиной, что ещё труднее). Уж не говорю о первой любви, которая практически всегда не складывается, кончается печально (если не трагически) и долго отдаётся в душе щемящей нотой. (Моя судьба в данном случае не составила исключения.)

Так вот, сочтя себя в 16 лет достаточно взрослой, совершенно по-новому ощутив любовные коллизии в «Войне и мире», я залпом прочитала шолоховский «Тихий Дон». Тёмная тяжёлая стихия неведомого дотоле бытия меня чуть не потопила. Отталкивание от жестокости и насилия было таким острым, что томики физически вываливались из рук. И всё-таки я благодарна этому, безусловно слишком раннему, читательскому опыту. Померкла героика Гражданской войны, неустанно воспеваемая в советской культуре (роль играли не столько книги, сколько фильмы, живопись, песни – ведь даже любимейший Окуджава пел о «той единственной гражданской»). Начала открываться подлинная трагедия народа, которого жестоко и насильственно заставили переменить судьбу.

Конечно, я жадно впивалась во все «любовные» страницы. Сейчас даже как-то неловко об этом вспоминать, но из песни слова не выкинешь: в 16 лет мне гораздо более по душе и по характеру пришлась история отношений Анны и Бунчука. Однако мощь шолоховского текста такова, что перечитывала я «Тихий Дон» неоднократно, и счастье понимания и сопереживания главным персонажам росло от чтения к чтению. Сейчас мне ясно, что поднять любовь полуграмотных казаков до уровня шекспировских героев, поднять, ни разу не унизив её фальшивым облагораживанием, мог только подлинный гений. А неистребимая поэзия Дома, Семьи, Труда?

Спустя год-другой мы проходили в школе «Поднятую целину». После «Тихого Дона» роман, конечно, нравился меньше, но задуматься заставил о многом. В частности, прояснился безумный соблазн раскулачивания, когда нищему и забитому дают много и бесплатно. Часто спорили мы о трагической концовке, о том, зачем Шолохов беспощадно убивает своих лучших и любимых героев. В одном из сочинений я напишу: возможно, здесь предсказана тень надвигающегося 37-го года, и писатель призывает беречь настоящих людей, ведь их так мало осталось.

Предчувствие и робкое предугадывание собственной женской судьбы совпало у меня с прочтением «Очарованной души» Ромена Роллана. Как нравился мне этот роман, с каким упоением я обнаруживала чёрточки своего сходства с главной героиней! Особенно привлекало великолепное презрение Аннеты Ривьер к «тому, что скажут», к материальным благам, простое, радостное и благодарное принятие судьбы «матери-одиночки» (которую я во многом повторю) и неустанный душевный труд. Спустя некоторое время в «Дневнике Нины Костериной» (о нём ниже) я прочитаю о таком же потрясении его автора судьбой и образом Аннеты.

Да, хороший роман. Конечно, блестящее французское многословие утомляет, его выдержит и оценит только достаточно опытный и воспитанный читатель. Роллан (как и Гюго, которого я тоже очень любила и ещё подростком во множестве прочитала) доступен далеко не каждому. Наконец, с чисто художественной стороны намного изобретательнее и мудрее его «Кола Брюньон», и в зрелые годы я часто буду вспоминать диалог из главы «Ласочка»:

– Среди всех женщин на свете, – сказал я, – я узнал бы тебя с закрытыми глазами.

– С закрытыми – да, а с открытыми? Взгляни на эти ввалившиеся щёки, на этот беззубый рот, на этот длинный нос…

– У меня глаза хорошие, Ласочка.

В середине 1960-х гг. публикуются великолепные переводы крупных зарубежных авторов, среди которых сразу и навсегда покорил меня Генрих Бёлль. Я собирала тоненькие бумажные издания всех его романов и повестей – «Дом без хозяина», «Глазами клоуна», «Бильярд в половине десятого»… Впервые мне открывается принципиально иной, другой национальный художественный мир, другое, но неодолимо притягательное мировосприятие, я начинаю понимать поэзию прозаических символов. Чего стоило одно «причастие буйвола» из «Бильярда» (внутренне принятие фашизма и насилия)! Хрупкость добра – вот, пожалуй, главный нравственный урок, полученный мной от Бёлля.   
В 70-е гг. его произведения исчезают с книжных прилавков. В 1973 году я вырежу из «Нового мира» и переплету «Групповой портрет с дамой» и долго буду горестно недоумевать, почему писатель такой мощи и оба-  
яния практически не печатается в Союзе.

Как многие сверстники, в отрочестве я не могла не увлечься Ремарком. Его книги были практически недоставаемыми; помню, с каким ликованием я притащила домой затрёпанный томик с «Тремя товарищами», сбережённый для меня знакомой продавщицей букинистического отдела. Очарование этого романа живо и сейчас, напоминая, какой бедной становится жизнь, лишённая дружбы и любви. Эту банальную истину способен засвидетельствовать далеко не каждый писатель… Позже многие ремарковские произведения забудутся и поблекнут, утомит однообразие туберкулёзных страданий и смертей. Но останется свет одинокого мужества и благодарности за пусть исчезнувшее, но подлинное чувство, исходящий от страниц «Триумфальной арки», «Чёрного обелиска», «Теней в раю».

Ещё в школьные годы одним из моих любимцев стал Л. Фейхтвангер. Перечитала я тогда почти все его романы, но особенно впечатлили (и много раз перечитывались) «Семья Опперман» и «Испанская баллада». Пытаюсь понять, почему именно они. В «Семье Опперман» мучительно задевала слепота общества к надвигающейся и разразившейся катастрофе немецкого фашизма, и к диалогу Густава Оппермана с открывшим ему глаза молодым адвокатом я возвращалась неоднократно. Задним числом думается, что здесь сказалось предчувствие собственных, последовавших много позже, прозрений относительно бытия советского общества в годы сталинизма и в годы застоя. Дело ведь не только в недостатке информации, но и в собственной охранительной глухоте, которую люди неосознанно лелеют и поддерживают. Ей поддался и сам Лион Фейхтвангер в своей книге «Москва, 1937 год». Как мог этот стреляный воробей не ощутить фальшь московских процессов тех лет? А «Испанская баллада» покоряла изображением любви как иррационального, сметающего все предостережения своего и чужого разума, бесконечно счастливого чувства. На мой взгляд, это один из лучших любовных романов в мировой литературе.

К сожалению, самой мне до последних дней не удалось избавиться от рацио в любовных делах. Видимо, русскому человеку, особенно русской женщине, слишком многое мешает безоглядно отдаться чувству, и дело вовсе не в опасении, что скажут и что подумают, а в постоянном осознании и предчувствии возможного будущего, главное в котором –   
судьба детей. Трагедия Анны Карениной мне видится не столько в иссякновении чувства, в том, что «винт свинтился», сколько в разрушенных судьбах Серёжи и маленькой Ани, даже имя которой с трудом вспоминает читатель. Всё-таки главное назначение женщины – дать и выпестовать жизнь.

И ещё одно произведение о любви стало неотъемлемой принадлежностью моего юношеского сознания: это поэтичный и грустный роман Т. Драйзера «Дженни Герхардт». Его образная ткань гораздо ближе к русской прозе XIX века, чем новаторские тексты Хемингуэя и Фолкнера (о которых ещё пойдёт речь), тем не менее это американская проза, с её сдержанной и глубокой недоговорённостью реплик. До сих пор   
волнует диалог Дженни и умирающего Лестера, первый их диалог после расставания и долгой разлуки:

– Не знаю, что будет дальше, – говорил Лестер. –…Мне уже давно хотелось тебя повидать. Решил – в этот приезд непременно наведаюсь. Ты ведь знаешь, мы теперь живём в Нью-Йорке. А ты немножко пополнела, Дженни.

– Старею, Лестер, – улыбнулась она.

– Это неважно, – возразил он, не отводя от неё глаз. – Дело не в возрасте. Все стареют. Дело в том, как кто смотрит на жизнь.

Он замолчал и поднял глаза к потолку. Лёгкая боль напомнила ему о перенесённых мучениях. Ещё несколько таких приступов, как сегодня утром, – и он не выдержит.

– Я не мог умереть, не повидавшись с тобой, – заговорил он опять, когда боль отпустила. – Я давно хотел тебе сказать, Дженни, – напрасно мы расстались. Теперь я вижу, что это было не нужно. Мне это не дало счастья. Ты прости меня. Мне самому было бы легче, если бы я не сделал этого.

– Ну что ты, Лестер, – возразила она, и в этот миг вся их совместная жизнь пронеслась в её памяти. Вот оно – свидетельство их подлинного союза, их подлинной душевной близости! – Не мучай себя. Всё хорошо и так. Ты был очень добр ко мне. Не мог же ты из-за меня потерять всё своё состояние. И мне так гораздо спокойнее. Конечно, было тяжело, но мало ли в жизни тяжёлого, мой дорогой.

Она умолкла.

В 16 лет я наталкиваюсь в своих книжных поисках на стихотворения О.Ф. Берггольц. И снова меня с головой захватывает то, перед чем я и по сей день не могу устоять: пространство жизни, трагической судьбы и биографии, которое чувствовалось за каждой её строкой. Человеку с изощрённой читательской культурой, избалованному тончайшими и многообразными оттенками и нюансами художественного слова, её стихи могли и могут показаться слишком однозначными, прямолинейными и «лобовыми», но их просто невозможно воспринимать в отрыве от тех событий жизни автора и страны, в гуще которых они рождались. Покоряла также страстность поэтического высказывания:

Я так хочу, так верю, так люблю.

Не смейте проявлять ко мне участья.

Я даже гибели своей не уступлю

За ваше принудительное счастье…

Её «Дневные звёзды» сразят меня окончательно. Это замечательный образец лирической исповедальной прозы, и я не перестаю сокрушаться, что условия подцензурного советского существования и надлом последних лет не позволили ей завершить свою «Главную книгу» (не раз встречающееся у неё именование «Дневных звёзд»). Как и о других своих любимцах, я буду собирать всё написанное самой Ольгой Фёдоровной и о ней. О том, какое впечатление произвёл на меня и моих сверстников тоненький сборничек «Узел», я уже писала. А на склоне лет я потрясённо прочитаю её дневники, сохранённые и опубликованные сестрой – М.Ф. Берггольц. В сущности, имя О.Ф. Берггольц тоже входит в мартиролог творцов, погубленных и замученных советским тоталитаризмом. Для меня, кстати, словосочетания «советский тоталитаризм» и «советская власть» отнюдь не синонимы. Советская власть –   
обозначение небывалого исторического эксперимента, перевернувшего судьбы практически всех населяющих Российскую империю, и вовсе не всегда к худшему. Наша семья, происходящая и с той и с другой стороны из беднейшего крестьянства, тому свидетельство. Советский же тоталитаризм – страшная цена этого эксперимента.

Одним из самых запомнившихся мест в «Главной книге» О. Берггольц стало следующее:

…Индийская мудрость гласит, что человек должен пройти два пути в жизни: путь выступления и путь возврата. На пути выступления человек находится в тех своих личных границах, куда заключена часть единой жизни; человек живёт главным образом только собой, живёт корыстью чисто личной, жаждой «захвата», жаждой «брать» – для себя, для своего племени, для своего народа. На пути же возврата теряются границы его личного и общественного «я», кончается жажда «брать» и всё более и более растёт жажда «отдавать» – взятое у природы, у людей, у мира. Так сливается сознание и жизнь человека с единой Жизнью, с единым «я» – начинается его подлинное духовное существование.

В ранней юности я понимала вышеприведённое достаточно упрощённо, но, пожалуй, недалеко от истины: попросту говоря, сначала ты копишь всё, что кажется тебе по-настоящему значимым, – книги, события, факты, друзей, возлюбленных, мысли, оценки, но позже наступает период, когда хочешь и можешь отдать накопленное, иначе плоть твоего существования исчезнет без следа. Я счастлива, что осознание необходимости «пути возврата» и радости, которая ему сопутствует, пришло ко мне достаточно рано и совпало с выбором профессии. Главный смысл земного существования видится мне в радости отдавать – сыну, детям, близким и дальним, настоящему и будущему – и, конечно, постоянно заботиться о том, чтобы было что отдавать.

О Бунине. Первые достаточно полные послевоенные его издания относятся именно к 1965-1966 гг., и в нашем доме никак не могли пропустить «Тёмные аллеи» и «Жизнь Арсеньева». Помню, как я взахлёб восхищалась последней в кругу подруг: не то повесть, не то поэма, и невозможно оторваться, и дрожь пробирает до кончиков пальцев. Начинаю вновь пересматривать «точки отсчёта» литературного мастерства: жизнь души – оказывается, её можно отобразить не в поступках, не в сюжете, а в прямом лирическом прозаическом высказывании, и это высказывание по семантической и эмоциональной ёмкости будет равноценно первоклассной стихотворной речи:

…В далёкой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет вовеки благословенно её бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?..

В 1965 году «Новый мир» (любимый журнал нашей семьи) публикует «Дневник Нины Костериной», московской школьницы предвоенных лет, у которой в 1938-м арестовали отца и которая добровольно ушла на фронт осенью 1941-го, отчасти в надежде, что этот поступок поможет спасти отца. В ноябре того же 1941 года она погибла в ходе одной из партизанских операций. В том же отряде была и Зоя Космодемьянская. Хотя сама Нина назвала свои записки «Дневником обыкновенной   
девушки» (думаю, не без простительного кокетства), но по широте интересов, душевной цельности, самоотверженности, неустанной работе над собой она была, безусловно, человеком незаурядным, и недаром её дневник сравнивали с «Дневником Анны Франк».

«Дневник Нины Костериной» стал моим первым знакомством с живой документалистикой. С тех пор начинается моё пожизненное увлечение дневниками, которые я начну собирать: Мария Башкирцева, Анна Франк, Чуковские – отец и дочь, Юрий Нагибин, Нина Луговская, Любовь Шапорина… Постепенно осознаю, что жизнь любого думающего и рефлексирующего человека может стать фактом если не истории и литературы, то духовной культуры. Мемуаристика и документалистика как в моём теперешнем сознании, так и, пожалуй, в литературной действительности двухтысячных основательно потеснили художественную прозу. Трудно сказать, что тому причиной – может быть, небывалый трагический опыт России и мира XX века вкупе с поголовной грамотностью, плюс потеря доверия к профессиональному писательству, да ещё отсутствие в дневниковой прозе чётко организованного сюжета и нарратива, дающее возможность прервать чтение практически в любой момент – дань пресловутому «клиповому сознанию»… Возможные объяснения этим, наверное, не исчерпываются, но факт – факт налицо.

Кстати, в «Новом мире» «Дневник Нины Костериной» был опубликован без купюр, а последовавшее несколько лет спустя отдельное издание уже изуродовано цензурными изъятиями.

Ещё одно яркое литературное впечатление времён хрущёвской оттепели – повесть Бориса Балтера «До свидания, мальчики!» (1963 г.). Свидетельствую, что среди моих сверстников она была намного популярнее молодых повестей В. Аксёнова («Коллеги», «Звёздный билет», «Апельсины из Марокко»). Номер «Юности» с Балтером рвали из рук, зачитывали до дыр. Скопом ринулись на вскоре последовавшую экранизацию – одноименный фильм М. Калика. Обсуждали. Спорили. Цитировали. Расстраивались: почему у Балтера только одно произведение?

Люблю и перечитываю «Мальчиков» доныне. Замечательное по лиризму, искренности, акварельной чёткости деталей, печали позднего прозрения осознание пути своего поколения, принявшего на себя всю тяжесть Великой Отечественной войны. «Я знал наизусть все ошибки Гегеля и Канта, не прочитав ни одного из них…»

Сейчас я задаюсь вопросом, почему из океана (ей-богу, не преувеличиваю!) юношеского чтения вспоминаются, да ещё располагаясь одно подле другого, именно эти произведения: «Дневные звёзды», «Жизнь Арсеньева», «До свидания, мальчики!», дневники. Пожалуй, именно потому, что в них налицо прямое или подспудное высказывание о судьбе поколения, а эта судьба в юности не может не волновать: ведь предстоит занять не чьё-то чужое, а своё место в потоке истории. Конечно, внутренне такие вещи не проговариваешь, стесняешься, но на деле всё обстоит именно так.

Рядом с повестью Балтера в моих воспоминаниях стоит тоненький сборничек «Сквозь время» (1964 г.), собравший произведения четырёх молодых поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной, – Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова и Николая Отрады. Особенно помнится оттуда П. Коган:

…Мы, лобастые мальчики невиданной революции.

В десять лет – мечтатели,

В четырнадцать – поэты и урки,

В двадцать пять – внесённые в смертные реляции.

С какой горечью я обнаружу в потоке мемуарной литературы 2000-х лет, что Павел Коган (кстати, автор знаменитой в те годы «Бригантины»), по всей вероятности, был осведомителем НКВД (безусловно, из лучших побуждений). И всё-таки, всё-таки не спешу его осуждать… Велика опасность упрощения структуры личности, особенно личности творческой, которая ловит все дары и удары времени, подвергается всем излучениям эпохи, как целительным, так и калечащим.

Поэзия шестидесятников! Свидетельствую: популярность Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Рождественского в те годы нисколько не преувеличена. Сборники стихов невозможно было достать, уж не говорю – купить, строки запоминались и цитировались, редкие лекции об их творчестве собирали огромные аудитории. Одну из таких лекций прочитала мама; помню, как затихли слушатели после цитирования стихотворения Вознесенского «Итальянский гараж»:

…Лишь один мотоцикл притих –

самый алый из молодых.

Что он бодрствует? Завтра – Святки.

Завтра он разобьётся всмятку!..

Мы родились – не выживать,

а спидометры выжимать!..

Алый, конченый, жарь! Жарь!

Только гонщицу очень жаль…

Всё-таки, пожалуй, самым-самым из них был Евтушенко. Мне и по сегодня больше по душе его раннее творчество, с неподдельной искренностью и проникновенной мелодией интонаций. Его звуковые и метафорические находки в те времена были ненатужны, на редкость уместны и принимались на ура:

Тают отроческие тайны,

как туманы на берегах.

Были тайнами Тони, Тани,

даже с цыпками на ногах…

И конечно, покоряла яркая гражданственность «Наследников Сталина», «Бабьего Яра», «Братской ГЭС». Несколько глав из этой поэмы он читал на своём авторском вечере у нас в Горьком в 1965 году. Мне посчастливилось попасть в битком набитый зал Филармонии (стояли и сидели в проходах, в дверях, на подоконниках), и многие строфы поэмы помнятся в его интонации. Читал он великолепно: живо, гибко, страстно, и вся его фигура, манера поведения, жесты, дикция, падающая иногда на глаза чёлка соответствовали произносимому. Нас с друзьями страшно расстроил и оскорбил снисходительный и критический отзыв об этом вечере в «Горьковском рабочем» – нашей вечёрке, и я,   
  
не выдержав, написала в школьную стенгазету заметку «Поэты в Горьком», где постаралась отдать ему должное.

К сожалению, годы не прибавили Евтушенко мудрости, а поэтический талант разменивался и убывал на глазах. Даже пылкая гражданственная нота стала чаще и чаще фальшивить, и из его позднейших поэтических откликов на злобу дня тронули меня только две вещи: написанные в трагическом 1968-м, но прочитанные мной лишь в 1989-м «Танки идут по Праге» и «Прощание с красным флагом» (1992), в котором он опять попал в болевую нервную точку моего поколения:

Прощай, наш красный флаг…

Ты не принёс нам благ.

Ты с кровью, и тебя

мы с кровью отдираем.

Вот почему сейчас

не выдрать слёз из глаз –

так зверски по зрачкам

хлестнул ты алым краем.

(Это стихотворение навеяно знаменитой сценой спуска красного флага над Кремлём в декабре 1991 года и заменой его на российский триколор. Сходные чувства испытывали почти все неравнодушные граждане канувшего в небытие СССР.)

Много споров вызывал молодой Вознесенский. Далеко не сразу приходило понимание его поэтического новаторства, но поэма «Авось» (1970), прославленная спектаклем Ленкома, покорила, пожалуй, всех. В моей читательской биографии этот поэт событием не стал, хотя я полностью отдаю должное его изощрённому мастерству и широте поэтического взгляда. Не хватает искренности, раскаяния, суда над собой, отталкивает (иногда) цинизм и самолюбование. Хотя до сих пор некоторое трогает.

Роберта Рождественского трудно было воспринимать всерьёз; правда, нравились, и не могли не нравиться, многие его песни. А вот поздняя, предсмертная лирика оказалась большой поэзией:

Тихо летят паутинные нити.

Солнце горит на оконном стекле.

Что-то я делал не так;

извините:

жил я впервые на этой земле…

Пожалуй, самый большой дар в этой великолепной четвёрке Бог отпустил Ахмадулиной, да и облик её не запятнан ни одним пошлым компромиссом, ни творческим, ни человеческим. Нельзя не пожалеть о слишком узкой и неполной реализации этого таланта. А ведь могла:

Плоть от плоти сограждан усталых,

хорошо, что в их длинном строю

в магазинах, в кино, на вокзалах

я последнею в кассу стою –

позади паренька удалого

и старухи в пуховом платке,

слившись с ними, как слово и слово

на моём и на их языке.

Да, «литературоцентричность» моего поколения во многом сформирована поэзией и прозой оттепели. Стойкое чувство, что в книгах можно найти ответы на самые жгучие вопросы, которые и друзьям, и родителям-то не задашь, выросло из тех лет. Стихам, повестям, романам мы обязаны тем, что рано ощутили свою возможную причастность к жизни страны и, как могли, готовились к этой причастности: серьёзно относились к выбору профессии, старались осмыслить происходящие события и критически отнестись к ним. «Литературоцентричность» постепенно перерастала в «культуроцентричность», в жадную потребность приобщиться не только к доселе скрытой русской, но и к мировой культуре. Неоценимую роль в процессе этого приобщения сыграли мемуары И.Г. Эренбурга. «Люди, годы, жизнь» – одна из главных книг моего поколения.

Сколько окон в мировую культуру распахнула перед нами эта книга, с каким неудержимым интересом читалась и перечитывалась! Знаменитое определение Пастернака «Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести» подходит к эренбурговским мемуарам в высшей степени. Этот кусок живой и честной истории страны, мира, искусства, отдельной личности поглощался с неослабным аппетитом. Помимо невероятной информативности, привлекало то, что перо мемуариста оставалось пером поэта. Я это чувствовала особенно остро и с радостью прочитала позже телеграмму Ахматовой, посланную к 70-летию писателя: «Строгого мыслителя, зоркого бытописателя, всегда поэта поздравляет сегодняшним днём его современница Анна Ахматова».

О своих же собственных мемуарах Эренбург отозвался в одноименном стихотворении «Люди, годы, жизнь»:

На кладбище друзей, на свалке века

Я понял: пусть принижен и поник,

Он всё ж оправдывает человека,

Истоптанный, но мыслящий тростник.

Мама с отцом, оказавшись в 1967 году в Москве в командировке, поклонились его свежей могиле на Новодевичьем кладбище.

Мемуары Эренбурга подтолкнули меня к знакомству с европейской поэзией; к тому же советская практика переводов была уникальной, одной из лучших в мире – по вполне понятным и прозрачным ныне причинам: если нельзя писать и публиковать своё, обратимся к чужому и уж там дадим себе волю.

До сих пор нежно вспоминается Юлиан Тувим, его прелестная «Наука» в переводе Д. Самойлова:

Всем премудростям я обучался:

Логарифмы, задачи, квадраты.

Грыз я формулы. Запанибрата

С бесконечностью я обращался.

. . . .

Знаю всё: про янтарь, про погоду,

Как устроено зренье у мухи,

Что тела, погружённые в воду...

И так далее, в этом же духе…

Витезслав Незвал, в замечательном переводе К. Симонова:

С богом! Ну что ж! Как ни странно, мы оба не плачем.

Да, всё было прекрасно. И больше об этом ни слова.

С богом! И если мы даже свиданье назначим,

Мы придём не для нас – для другой и другого…

Кстати, неудивительно, что эти стихи так хороши именно в переводе Симонова – вспомним «С тобой и без тебя». Кому, как не ему, переводить мужские стихи о любви. Симонову же принадлежит мой любимый перевод «Дурака» Р. Киплинга, с великолепной иронией и обаянием мужского характера:

Жил-был дурак. Он молился всерьёз

(Впрочем, как Вы и Я)

Тряпкам, костям и пучку волос –

Всё это пустою бабой звалось,

Но дурак её звал Королевой Роз

(Впрочем, как Вы и Я).

И наконец, Федерико Гарсиа Лорка, над «Гитарой» которого в волшебном переводе М. Цветаевой обмирали и я, и мои подруги:

Начинается

Плач гитары.

Разбивается

Чаша утра…

В 1964–1965 гг. до нашего города начинают доходить томики Марины Цветаевой. Это, пожалуй, самое сильное и стойкое поэтическое впечатление моей юности, переросшее в пожизненное пристрастие к её творчеству. Удар и потрясение последовали по всем направлениям: стихи, проза, характер, судьба.

С годами всё яснее обнаруживалась неисчерпаемость её творчества. В первой юности западало в душу всё про любовь:

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,

Оттого что лес – моя колыбель, и могила – лес…

Как живётся вам с другою, –

Проще ведь? – Удар весла!..

Я и в аду тебе скажу:

«Мой милый, что тебе я сделала?»

Конечно же, «Поэма Горы» и «Поэма Конца»… Ещё позже самой исчерпывающей формулой любви для меня окажется:

Ятаган? Огонь?

Поскромнее, – куда как громко!

Боль, знакомая, как глазам – ладонь,

Как губам –

Имя собственного ребёнка.

Притягивала тема смерти, которая впервые осознавалась во всей своей неотвратимости:

Уж сколько их упало в эту бездну,

Разверстую вдали!

Настанет день, когда и я исчезну

С поверхности земли…

Завораживало ощущение своей «непохожести», знакомое в юности всем:

Вы, идущие мимо меня

К не моим и сомнительным чарам, –

Если б знали вы, сколько огня,

Сколько жизни, растраченной даром…

Восхищала невероятная воля к труду, вера в своё призвание:

Так будь же благословен –

Лбом, локтем, узлом колен

Испытанный, – как пила

В грудь въевшийся – край стола!

Не преувеличу, если скажу, что после чтения Цветаевой менялся состав крови. Стихи становились воздухом, необходимым для жизни.

С возрастом глубже осознавались строки о России и её судьбе:

«Россия моя, Россия,

Зачем так ярко горишь?»

…Но если по дороге куст

Встаёт, особенно – рябина…

Поразят цветаевские прозрения:

…И в словаре задумчивые внуки

За словом: долг напишут слово: Дон.

А чего стоит крохотное стихотворение 1934 года:

А Бог с вами!

Будьте овцами!

Ходите стадами, стаями

Без меты, без мысли собственной

Вслед Гитлеру или Сталину

Являйте из тел распластанных

Звезду или свасты крюки.

Как она права в том, что только потеря людьми собственной индивидуальности делает возможными ужасы тоталитарных режимов.

Когда у меня будет подрастать собственный сын, я совсем другими глазами перечитаю стихи, посвящённые маленькой Але:

Ты будешь невинной, тонкой,

Прелестной – и всем чужой.

Пленительной амазонкой,

Стремительной госпожой…

И на склоне лет, уже похоронив и мать, и отца, с задавленными слезами вчитываюсь в строфы, названные «Отцам»:

…Поколенье, где краше

Был – кто жарче страдал!

Поколенье! Я – ваша!

Продолженье зеркал.

. . . . .

До последнего часа

Обращённым к звезде –

Уходящая раса,

Спасибо тебе!

А волшебство цветаевской прозы! «Мать и музыка», «Сказка матери», «Мой Пушкин», «Живое о живом»… И конечно, «Искусство при свете совести».

Попробую подвести итог: что же дала мне Цветаева?

- Восхищение силой творчества, могуществом поэзии, преображающей и даже пересоздающей мир; изумление перед глубиной и не-  
обычностью этой пересозданной действительности.

- Гордость за Россию: такого поэта могла дать миру только она. И гре-  
ховная мысль: возможно, все боли, беды, трагедии России XX века оплачены появлением в ореоле мученичества этой гениальной четвёрки: Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Ахматова.

- Цветаева научила меня вчитываться и вживаться в каждое поэтическое слово, внушила страсть к его разгадке. Любовь к русскому языку, тревога за него, осознанный восторг перед ним идут из тех лет.

- Наконец, судьба Марины Цветаевой и всей её семьи стали моей болью, не иссякающей до сегодня. Физически невыносимо ощущать страшную, тупую жестокость, с которой Советская Россия отнеслась к Але Эфрон, Сергею Яковлевичу, Георгию (Муру), Анастасии Цветаевой. В течение многих лет я собирала всю литературу, все источники об этой семье, и больше всего меня задевает то, что порядочность, незаурядность, талантливость этих людей была очевидна всем – и что же? Да ничего, только хуже и горше становился их жребий.

Кстати, о бисексуальности Цветаевой: для целомудренного до ханжества советского общества это оказалось, конечно, отталкивающей чертой (в чём сознавался, в частности, мой брат Коля и многие мои друзья). Странно, но у меня (при всей моей традиционнейшей ориентации) это обстоятельство отторжения не вызывало. Ведь оно ничему не помешало в её творчестве, а может, и помогло. При всей поглощённости личными переживаниями, только Цветаева в декабре 1920 года смогла подвести такой итог кровавой Гражданской   
войне:

Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!

То шатаясь причитает в поле – Русь.

Помогите – на ногах нетверда!

Затуманила меня кровь – руда!

. . . . .

Белый был – красным стал:

Кровь обагрила.

Красным был – белый стал:

Смерть побелила…

До такой мудрости поднимались единицы.

Ощущение вины перед Мариной Цветаевой присуще практически всем пишущим и писавшим о ней.

Борис Пастернак:

Что сделать мне тебе в угоду?

Дай как-нибудь об этом весть.

В молчаньи твоего ухода

Упрёк невысказанный есть…

Мария Петровых:

Не приголубили, не отогрели,

Гибель твою отвратить не сумели.

Неискупаемый смертный грех

Так и остался на всех, на всех.

Безусловно, Цветаева, во всём своём масштабе и во всех своих глубинах, поэт не для всех, как и всякий гений. Я читаю её с юности, постоянно к ней возвращаюсь, но многие её высоты остаются недоступными. Однако я так её люблю, так велико моё восхищение её творчеством и горестное сострадание её судьбе, что мне смолоду хотелось сделать доступными прихотливые извивы любимых строк для как можно большего количества людей.

Цветаева учила меня бесстрашию – перед жизнью, а много позже – и перед смертью.

А пока… Не расставаясь с томиком Цветаевой, я поступаю в Горьковский университет, на давно облюбованное отделение структурной лингвистики.

Университет (1966–1971)

К двадцати годам я погружаюсь в семейные саги, самыми любимыми из которых остались «Сага о Форсайтах» и «Конец главы» Дж. Голсуорси, «Семья Тибо» Р. М. дю Гара и… «Дело, которому ты служишь» Ю.П. Германа. Почему так нравился в то время именно семейный роман? Инерция нежно любимого Л. Толстого, его «Войны и мира»? Сказывалась юношеская настоятельная потребность выстроить для себя законченную и последовательную модель мира, которая помогла бы в предстоящем жизненном действии? А может быть, хотелось спрятаться в вымышленное, но такое близкое к реальности пространство, лишённое, однако, банальности и пошлости этой реальности? Кроме всего прочего, семейные саги оставляли оптимистическую надежду на какой-то грядущий жизненный праздник, а любимые герои превращались в подлинных друзей, всегда находящихся рядом.

Почему так тянет перечитывать романы Голсуорси? И не только меня: в нашем семейном книгохранилище из двухсот томов «Библиотеки всемирной литературы» только двухтомник «Саги о Форсайтах» пришлось переплести заново – развалился из-за постоянного употребления. От его страниц просто веяло английским викторианским уютом, и после аппетитных описаний лондонского «форсайтского» быта до конца проникаешься справедливостью восклицания несчастного Мармеладова из «Преступления и наказания»:

«Милостивый государь... бедность не порок, это истина. …Но нищета, милостивый государь, нищета – порок-с».

Другими словами, для того чтобы сохранить возможность испытывать некие, не говорю «изысканные», но хотя бы непримитивные чувства и следовать их зову, человек должен иметь определённый минимум сытости, уюта, тепла… чего так часто, увы, недоставало российским гражданам.

Опыт моего раннего (в 20 лет) и неудачного замужества заставлял с особым интересом следить за изображением любовных перипетий –   
Сомса и Ирэн, Джона и Флёр, Уилфрида Дезерта и Динни Черрел.   
О любви в романах Голсуорси сказано то и так, чего ещё не было в русской литературе. Рок, фатум, необъяснимое наваждение, где необъяснимость поставлена на первое место. Анализировать бесполезно! Что-то подобное прослеживается в начале отношений Анны и Вронского, но далее всепроникающий толстовский анализ разрушает таинственность влечения. «Тёмные аллеи» Бунина до предела насыщены роковой и поэтической атмосферой «солнечного удара», но там он изображён, как правило, в своём мгновенном кратком апофеозе. А у Голсуорси – многодетальное, красочное, протяжённое во времени и пространстве повествование о не поддающемся доводам разума процессе. Кроме того, автор впервые (во всяком случае, для меня) так ярко и убедительно продемонстрировал загадку половой антипатии, которая распространена гораздо шире, чем это казалось русским женщинам, воспитанным на целомудренной до аскетизма отечественной классике.

Самым привлекательным героем в «Саге о Форсайтах» оказался Майкл Монт, этическое кредо которого сконцентрировано в словах: «Искать предлогов не быть порядочным человеком! Для этого предлога не найти». По-английски скупо, но на редкость убедительно.   
А полностью покорил меня герой другой эпопеи, «Семьи Тибо» Роже Мартен дю Гара. Врач Антуан Тибо. Сцена операции, когда он спасает ножку попавшей под велосипед маленькой Дедетты, одна из лучших в мировой литературе. С таким драйвом передать мощь человеческого созидательного деяния дано немногим. В сущности, весь роман являет собой гимн действию – гуманистическому (Антуан), религиозно-себялюбивому (старый г-н Тибо) и революционному (Жак). Кому из братьев отдать предпочтение, предлагается решить читателю. Что до меня, то, я, конечно, выбираю Антуана. Его дневник, который он, отравленный ипритом и знающий о своём близком конце, ведёт до последних мгновений, неизменно потрясает меня при каждом перечитывании.   
К тому же необычайно близкой оказалась психологическая структура его личности. «Я жил в состоянии радостного предвосхищения жизни и активного доверия к ней» (цитирую в полюбившемся мне переводе, возможно, неточно). Как ни смешно, это состояние доминирует у меня до сих пор, до 70 лет… Антуан объясняет его общением с наукой – «источником и питательной средой моего оптимизма». Не знаю. Возможно, секрет в другом: в последствиях постоянного активного гуманистического деяния. «И мы – не праздно в мире жили!» (К. Рылеев).

Пожалуй, именно пристрастие к делателям бесспорного добра заставило меня, хоть и с оговорками и несколько снисходительно, но искренне полюбить трилогию Ю.П. Германа «Дело, которому ты служишь», о враче Владимире Устименко. Всем произведениям Юрия Павловича свойственно качество, которое в художественной прозе я чрезвычайно ценю, – эмпатия и человечность повествования. Безусловно, трилогия полностью «советская», иногда до печальной примитивности причин и следствий, но люди… люди живые. А когда Герман в силу тех или иных причин обращается к своей личной трагедии (он долго и мучительно умирал от рака), его проза поднимается по-настоящему высоко: это последнее письмо Ашхен Оганян в трилогии и повесть «Подполковник медицинской службы».

Б.М. Сарнов в своих мемуарных записках «Скуки не было» вспоминает, как он с женой делил современных писателей на «русских» и «советских». Деление жёсткое и даже жестокое, но чрезвычайно точное. Так вот, для меня несомненно «русским» оказался Юрий Трифонов, которого я чем дальше, тем убеждённее считаю гением отечественной прозы, чьим произведениям суждена «жизнь вечная». Начиная с конца 60-х и все 70-е годы одна за другой появлялись его городские повести: «Обмен», «Предварительные итоги», «Другая жизнь», «Долгое прощание», «Дом на набережной», «Старик», и каждая становилась событием, фактом и свидетельством времени, художественным открытием и прозрением.

При первоначальном чтении сражала наповал бытовая и психологическая достоверность. Персонажи «городских повестей» – это наши близкие и дальние знакомые, родственники, друзья. Да что скрывать, по внимательном и беспощадном рассмотрении это мы сами. Знаменитая густота и плотность трифоновской прозы во многом объясняется синтезом узнаваемых деталей внешности, отдельных подробностей интерьера и городского пейзажа, вкуса самогона и квашеной капусты, запаха подмосковной дачной местности, до озноба точных локальных жестов, ощущений, эмоций, мыслей. Эта достоверность обусловливала полное доверие к автору. Кстати, ни разу не приходило мне в голову согласиться с многочисленными печатными критическими отзывами: мелкотемье, сплошной беспросветный быт, ни одного положительного персонажа… Какой же, прости господи, у Трифонова быт? На его страницах жизнь, наша жизнь во всей её сложности и трагедийности, бытиё. Какое «осуждение мещанства»? Если так рассуждать, то множество героев Тургенева, Толстого, Достоевского прямиком угодят именно в «мещанскую» рубрику.

Ныне многие сравнивают Трифонова с Чеховым, считая первого чуть ли не реинкарнацией последнего. Да и сам Юрий Валентинович бесконечно почитал Антона Павловича. Но для меня и тогда, и сейчас очевидна огромная разница между ними, и не в пользу Чехова. Дело не столько в несравненно большей ёмкости трифоновского текста и в открывающемся за ним историческом пространстве, сколько в нравственной позиции автора. Безусловно, Чехов по-разному относится к своим персонажам, но всё это отношение варьируется в одной цветовой и звуковой гамме несколько презрительного, отстранённого сожаления. А вот у Трифонова, при бесконечном понимании самых неприглядных действий и мыслей, чёткость моральной оценки несомненна. Однако он настолько любит, знает и понимает жизнь во всех её проявлениях, что во всех его героях, даже таких насквозь «отрицательных», как Лена в «Обмене» или Гена Климук в «Другой жизни», есть симпатичные и как минимум вызывающие сочувственное узнавание чёрточки – скажем, сексуальная притягательность той же Лены и отчаяние Климука после гибели Феди Праскухина в автокатастрофе. Как обронил Трифонов в одной из своих заметок, он ненавидит не Лену, а некоторые качества Лены. Не только история, но и человек в его произведениях –   
многожильный провод.

Тем не менее ни отдельных бесчестных поступков, ни проигранной жизни Трифонов не прощает, и читатель с болью чувствует это непрощающее беспощадное осуждение. При всей очарованности людьми революционного действия («Нетерпение» – о народовольцах, «Отблеск костра» –   
о расстрелянных Сталиным отцах) он во многом осуждает и их. Чего стоит, например, разбитая жизнь жены и сына Андрея Желябова и погубленные семьи людей, сочувствовавших и помогавших народовольцам.

Возвращаясь к знаменитому «городскому циклу», вспоминаю ещё одно чёткое и яркое ощущение: это повести о незаметности истории и о её неизбежном повседневном свершении. Трифонов демонстрировал вдумчивому читателю живую нить, связывающую седое, тёмное, легендарное прошлое с будничным, ничтожным, озабоченным настоящим, из которого тем не менее вырастет неясное, но неизбежное будущее.

Интегральное впечатление от его неисчерпаемой и великой прозы было таким: преклонение перед всепобеждающей силой жизни и грустная попытка её понять. Почему грустная? Потому что «во многой мудрости много печали»? Потому что человек (и не только советский) вообще довольно несовершенный проект Создателя и поэтому обречён? Но тем не менее «печаль его светла», и читать Трифонова будут до тех пор, пока существует литература

Весной 1967 года, когда я училась на первом курсе отделения структурной лингвистики истфила Горьковского университета, грянул «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Почему весной – ведь соответствующие номера журнала «Москва», где печатался роман, это ноябрьский 1966 и январский 1967 гг.? Да потому, что достать журналы, хотя бы для ночного прочтения, было просто невозможно, несмотря на учёбу в самом «филологическом» месте города. Мне в руки попали отксерокопированные рассыпающиеся листки, которые я впоследствии любовно переплела и вклеила туда листочки с восстановленными цензурными изъятиями.

Не преувеличу, если скажу, что по силе впечатления этот возникший из 26-летнего небытия роман был сродни солженицынскому «Ивану Денисовичу». Его читали все, кто хоть немного ценил и понимал художественное слово. Мгновенно растащили на цитаты. Обсуждали. Восторгались. Некоторые кинулись знакомиться (впервые!) с Новым Заветом. Перечитывали «Фауста». Разыскивали у букинистов булгаковские книжки. Кстати, «доходил» «Мастер» не сразу. Даже такой искушённый читатель, как моя мать, трижды начинала первую главу – такой резкой оказалась новизна повествования. Но зато потом…

Эта книга была праздником, похожим на весеннюю мимозу, на те «жёлтые цветы, которые первые почему-то появляются в Москве», на те, которые несла Маргарита в её первую встречу с Мастером. Эта книга была живым свидетельством неисчерпаемости русской культуры.   
И боже мой, каким утешением была вечность, дарованная Воландом Мастеру, вечность любви, творчества и свободы, в доме с венецианским окном и вьющимся над ним виноградом.

Как всегда, я кинулась читать всё доступное и самого Булгакова, и воспоминаний о нём. В моей библиотеке чудом оказался сборник 1925 года «Дьяволиада» с дедовского чердака, причём на титульной странице его рукой была наложена резолюция: «Очень не понравилось». Кстати, «Дьяволиада», в отличие от «Роковых яиц» и, позже, «Собачьего сердца», не пришлась по сердцу и мне. Поразил и на всю жизнь полюбился «Театральный роман», с его нескрываемой лирической и обречённой интонацией и проникновением в тайное тайных искусства. Поразили – много позже – дневники и записки Елены Сергеевны, булгаковской Маргариты, одной из самых обаятельных, неотразимых и колдовских женщин русского литературного мира. В сущности, она и сам Мастер – Михаил Афанасьевич Булгаков – стали моими любимыми героями. В 70-х годах меня восхитит разящая и скорбная точность стихотворения Ахматовой из цикла «Венок мёртвым», написанного сразу после смерти М. А.:

ПАМЯТИ М. Б-ВА

Вот это я тебе, взамен могильных роз,

Взамен кадильного куренья;

Ты так сурово жил и до конца донёс

Великолепное презренье.

Ты пил вино, ты как никто шутил

И в душных стенах задыхался,

И гостью страшную ты сам к себе впустил,

И с ней наедине остался.

И нет тебя, и всё вокруг молчит

О скорбной и высокой жизни,

Лишь голос мой, как флейта, прозвучит

И на твоей безмолвной тризне.

О, кто поверить смел, что полоумной мне,

Мне, плакальщице дней погибших,

Мне, тлеющей на медленном огне,

Всё потерявшей, всех забывшей, –

Придётся поминать того, кто, полный сил

И светлых замыслов, и воли,

Как будто бы вчера со мною говорил,

Скрывая дрожь предсмертной боли.

Круг моего чтения в университетские годы точнее всего определяли и характеризовали два глагола, два императива внутреннего, сокровенного, духовного существования: понять и верить. Неутихающая потребность анализа всего, что тебя окружает: страны, мира, истории, культуры – вполне естественна, поскольку этого требует повседневная действительность и необходимость обрести своё место в ней. Отсюда жадный интерес к науке, который во время моей учёбы на одном из самых модных в 60-е годы отделении структурной лингвистики активно поддерживался и вполне удовлетворялся; достаточно сказать, что моим научным руководителем был профессор Борис Николаевич Головин, автор одного из лучших учебников по общему языкознанию и основатель двух перспективных научных направлений в лингвистике: во-первых, вероятностно-статистического анализа функциональных стилей языка и речи, а во-вторых, терминоведения и его применения в информационном поиске. Освоение научной литературы принесло мне массу интеллектуальных радостей: открытием стали труды   
В.В. Виноградова, А.А. Реформатского, Б.А. Ларина, Ю.Н. Тынянова,   
М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, Ю.М. Лотмана и многих, многих других.

С потребностью *понять* вроде бы всё понятно (тавтология, конечно, намеренная). Сложнее с потребностью *верить*. В безрелигиозном обществе удовлетворить её очень и очень непросто, тем более что светская религия марксизма-ленинизма к концу шестидесятых оказалась на последнем издыхании. Каждый справлялся с этой проблемой как умел, но внутренних ресурсов хватало далеко не у всех. По существу, жадность к художественному слову стала одним из способов утоления религиозного чувства.

В юности болезненно не хватает лирики и любви, как зимой – витамина D, и «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери в гениальном переводе Норы Галь восполнял этот недостаток. Простые, но такие нужные нравственные максимы: самого главного не увидишь глазами, зорко лишь сердце; пустыня хороша тем, что где-то в ней скрываются родники; мы в ответе за тех, кого приручили…

Хочу напомнить, что именно перевод Норы Галь сделал этот текст фактом русской культуры. Конечно, изящество сюжетной структуры, глубина и многозначность смыслов, неповторимое обаяние главного героя – от Сент-Экса. Но интонация, та интонация, которая заставляет плакать над этой вещью, – от Норы Галь. Чего стоит одна концовка, которую я и теперь не могу перечитывать равнодушно:

Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Здесь Маленький принц впервые появился на Земле, а потом исчез. Всмотритесь внимательней, чтобы непременно узнать это место, если когда-нибудь вы попадёте в Африку, в пустыню. Если вам случится тут проезжать, заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под этой звездой! И если к вам подойдёт маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы, уж конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда – очень прошу вас! – не забудьте утешить меня в моей печали, скорей напишите мне, что он вернулся…

Когда уже в 2000-е я прочитаю в книге Норы Галь «Слово живое и мёртвое» о её переводческих поисках, меня восхитит находка слова «гостья» для передачи французского существительного fleur, которое, как известно, женского рода. Русский «цветок» – это ведь мужчина, а надо, чтобы читатель с самого начала понял, что на планете Маленького принца появилась таинственная незнакомка, которая впоследствии станет его любовью. Слово «роза» он узнает позже, во время путешествия в другие миры.

«Мы в ответе за тех, кого приручили…» В юности не хватает именно этого – ответственности перед близкими. Во время пылких романов жажда собственного счастья туманит голову, и главный вывод из моего первого неудачного замужества был таким: нельзя делать другого человека средством достижения собственных целей, пусть даже самых достойных и высоких. С другой стороны, желание отдать и отдаться, отдать безоглядно, не ожидая никакого воздаяния, тоже чревато: неред-  
ко в опасности оказывается твоя собственная личность и душа…

Слишком он верил в человека, дорогой Сент-Экс.

Погружение в безвременье (1972–1975)

По слову Пушкина, «мыслей и мыслей» требует проза, «стихи – дело другое». И как раз с осмысляющей действительность прозой в эти годы дело обстояло неважно. С начала 70-х с журнальных и книжных страниц исчезает всё о Сталине и сталинизме, как будто в жизни страны просто не было ничего похожего. Изымаются даже упоминания о «криминальных» причинах смерти соответствующих авторов – «трагически погиб» вместо «расстрелян» встречается сплошь и рядом (гневно и яростно написала об этом Л.К. Чуковская в своём «Процессе исключения»). Растёт фальшь интонации в повествованиях о современной жизни; отсутствуют не только ответы, но попросту не ставятся сами вопросы – например, о всем очевидном росте социального неравенства и коррупции, формируется смешной и грустный культ Леонида Ильича.

Получилось так, что в нашем кругу место современной прозы оказалось занято авторской песней. Галич, Окуджава, Высоцкий – боги второй половины шестидесятых и нескончаемых семидесятых. Без преувеличения, их песни знали, слушали и пели все (первым по популярности оставался, конечно, Высоцкий). Этот небывалый доселе сгусток словесной культуры сформировался, расцвёл и начал осыпаться практически на моих глазах, и вот что мне сейчас думается о причинах наблюдаемого процесса.

Информационная революция, ворвавшаяся в нашу жизнь на плечах революции научно-технической, привела к необратимым изменениям человеческого восприятия. Радио, телевидение, позже Интернет сузили доходящие до широких масс вербальные объёмы, и это породило необходимость интегрального искусства – интеграции слова и музыки, слова и авторского исполнения, слова и графически-живописной компоненты, слова и театрализованного действия. Авторская песня спрессовывала в единый, доступный для локального восприятия художественный факт массу социальной, исторической, эмоциональной, личностной информации, а её сюжетность и разворачивающаяся во времени, оправленная музыкальными рамками репрезентация отграничивали этот факт от привычной формы лирического стихотворения. В сущности, многие произведения Галича, Высоцкого, Окуджавы напоминают микророман – психологический, плутовской, сатирический, лирический.

Больше такой всенародной популярности авторская песня не знала. Ни Виктор Цой, ни пресловутый БГ (Борис Гребенщиков), ни Егор Летов, ни Юрий Шевчук не подошли даже к подножию тех высот.

Авторская песня заставила по-новому услышать поэтическое слово, оценить прелесть и увлекательность словесных масок, почувствовать невидимый словесный жест. После звучащих текстов Галича, Высоцкого, Окуджавы всё меньше тянуло вчитываться в современных поэтов. До ослепительного Бродского не могу припомнить никого, кто бы надолго приковал к себе внимание. Разве Самойлов и Чухонцев…

Практически сразу после вуза я начала работать над кандидатской диссертацией. Помню собственный восторг и изумление над страницами опоязовцев – В.Б. Шкловского, Ю.Н. Тынянова, Б.А. Ларина и других. Загадка поэтического и – шире – художественного слова не разгадывалась до конца, но становилась объёмнее, шире, обрастала массой дополнительных вопросов. Увесистый том «Русского языка» В.В. Виноградова заставлял возвращаться к себе вновь и вновь,   
подталкивая к анализу не только и не столько лексики, сколько морфемных, морфологических и синтаксических оттенков. Виноградовских штудий я перечитала множество, широта и глубина его научных интересов завораживала. Виктор Владимирович был научным руководителем моего шефа – Б.Н. Головина. Помню его слова: «После фронта я – бывший пулемётчик – не страшился ни бога ни чёрта. Но академика Виноградова я боялся…»

Как важно в молодости ощутить влияние личности, которая много крупнее тебя, встретить человека, даже мимолётное и эпизодическое общение с которым заставляет тебя изо всех сил тянуться, вставать на цыпочки, думать, искать, ставить и задавать вопросы, стараться стать лучше, умнее, талантливее. Мы все были влюблены в своего шефа. Дорогой Борис Николаевич, примите ещё раз, уже с этих страниц, мою благодарность, восхищение и любовь. Всем, что я умею в науке, я обязана Вам, Вашему уму, логике, проницательности, выразительной краткости Ваших оценок.

Защита прошла успешно и даже с некоторым блеском. Но особого материального благополучия мне новенький диплом кандидата наук не принёс: кроме учёной степени нужно было получить ещё вожделенную соответствующую должность. В конце концов всё необходимое пришло, но в поисках разумного заработка я начала репетиторствовать.   
И никогда об этом не пожалела. Именно репетиторство позволило мне сравнительно благополучно пережить нелёгкие девяностые, и отказалась я от него лишь после защиты уже другой диссертации – докторской.

Уроки репетиторства

Вечная актуальность «Ревизора» как бы пульсирует в такт политической истории России и достигает максимума в болотистые застойные годы. «Фишка» не столько в сущностном совпадении жизненных ситуаций, сколько в том, что гоголевский текст напрочь лишён морализаторства: все персонажи полностью «в игре» и принимают окружающий их жизненный уклад как единственно возможный. Ни одного резонёра, ни одного прямого вербального осуждения! Судья один –   
смех, да ещё тот, неведомый и могущественный, власть имеющий Ревизор, который неизвестно когда и откуда явится. Мистическое восприятие власти и отсутствие собственного достоинства, от чего приходил в отчаяние ещё Пушкин, – главные беды нашего общества до сих пор. Чего стоят многолетние «Прямые линии» с президентом и бухание в ноги премьеру при обращении с простейшими бытовыми просьбами… Когда мы обсуждали «Ревизора» с разными поколениями учеников (40 лет репетиторства – срок вполне репрезентативный), у нас ни разу не возникало недостатка в аллюзиях с окружающей действительностью. А я до седых волос повторяю про себя реплику смотрителя училищ Луки Лукича: «Не приведи Бог служить по учёной части! Всего боишься; всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек».

Подростковому и юношескому сознанию с большим трудом даётся освоение абстрактных гуманитарных понятий, и текст «Мёртвых душ» очень помогал мне иллюстрировать переход гиперреалистического письма в сюрреализм и чистейший абсурдизм. Абсурд как средство художественного воздействия – одно из главных потрясений внимательного читателя гоголевской эпопеи. В сущности, Гоголь был предтечей современного постмодернизма, и мне всегда хотелось донести это до учеников, ещё и потому, что, как правило, осознавшие эту истину с новым тщанием впивались в строки едва ли не двухсотлетней давности. Чего стоит одно лишь знаменитое колесо из разговора двух мужиков на первой странице! Почему привлекают внимание к бричке даже не её колёса (которых, как известно, четыре), а лишь одно Колесо, которому вдобавок приписывается магическое свойство в одиночку доехать до Москвы? Почему оно «в Москву доедет», но в Казань – ни за что? Зачем бричке встретился подробно описанный «молодой человек в белых канифасовых панталонах», напрочь исчезнувший из дальнейшего повествования? И так далее, и тому подобное.

Финальный абзац первого тома сводится к знаменитому противопоставлению «бойкой необгонимой тройки» (Руси), божьего чуда, которому «дают дорогу другие народы и государства», – и едущего на ней Чичикова, жулика и дельца средней руки. Незаметное на первый взгляд (и, кстати, абсолютно незамечаемое школьными читателями и интерпретаторами ещё в 1930–1960-е годы), но ошеломляющее противоречие поразило уже героя шукшинского рассказа «Забуксовал» (1971), написанного и опубликованного в брежневские времена, причём механик Роман Звягин не только потрясён, но и явно унижен внезапно открывшейся ему истиной.

Некоторые занимавшиеся у меня мальчишки, однако, отказывались считать Чичикова «средним и маленьким человеком». «Это же гениальный бизнесмен!» – часто слышалось на заре 1990-х. Безусловно, такое мнение имеет право на существование, но мне приходилось, не прибегая к моральным оценкам, просто напоминать, что в конечном итоге чичиковская афёра успеха ему не принесла.

Не бог весть как популярен в школе и Некрасов.

Я прекрасно понимаю пылкую влюблённость в некрасовское творчество таких людей, как К.И. Чуковский, – людей, вышедших из низов и «сделавших» себя самостоятельно, людей, на себе испытавших не только моральные унижения, но и чисто физические страдания – сосущего голода, промозглой сырости и знобящего холода, валящей с ног усталости от отупляющего физического труда. Подобного, соотносящегося с личным опытом, восприятия нет, да и не может быть у современного школьника. Его скорее и легче можно увлечь знаковой загадкой стихотворного текста, послойным разбором того семантического, эмоционального и ассоциативного осложнения, которым так богата поэзия Серебряного века. Большой ошибкой мне кажется присутствие в школьной программе огромной и сложной поэмы «Кому на Руси жить хорошо» – редко кто из моих учеников набирался сил и терпения прочитать её полностью. При всём (несомненном!) изощрённом мастерстве Некрасова этот трёхстопный ямб с дактилическими окончаниями, которым, за небольшими исключениями, написана поэма в 250 страниц, выдержать современному читателю просто невозможно. Куда эффективнее было бы оставить для прочтения несколько разнообразных по ритмике и тематике стихотворений.

Ошеломившую современников новизну некрасовского отношения к крестьянину, к мужику я обычно иллюстрировала так: вы можете себе представить, чтобы Пушкин или Лермонтов посвятили собственную поэму «Другу-приятелю Гавриле Яковлевичу (крестьянину деревни Шоды Костромской губернии)»?

Неизменным успехом пользовалась также неотлакированная и нецензурированная биография Некрасова (карточная игра на бешеные деньги, увод жены у лучшего друга, ружья из Германии, собаки из Англии и т. п.): на фоне этих красочных деталей объёмнее и значимее воспринимался его редакторский подвиг, легко ассоциируемый с подвигом Твардовского в «Новом мире».

В юности я с гораздо большим аппетитом проглатывала страницы «Обыкновенной истории» и «Обрыва», но с годами загадочное совершенство «Обломова» становилось всё очевиднее. На днях (а на дворе уже 2020-й!) перечитала этот роман, и бросилось в глаза его ускользающее до сих пор общечеловеческое содержание, а вовсе не анализ специфически русской «обломовщины». В сущности, перед нами два чрезвычайно пластично изображённых типа: созерцатель и деятель, причём как созерцание, так и действие не озарены никакой «сверхцелью» или «сверхидеей», никаким высшим/божественным началом. Понятно, что созерцатель имеет несколько больше шансов эту самую сверхидею усмотреть, почувствовать и обрести; именно поэтому Обломов настолько симпатичнее Штольца. Помнится, последнее утверждение не оспаривалось никем из моих учеников, и сейчас меня это порядком удивляет: вроде бы в эпоху возрождения русского капитализма Штольц мог обрести достаточное количество поклонников. Очень привлекало подростков развитие отношений Обломова с Ольгой Ильинской, обрисованное с безупречной и целомудренной психологической точностью. Мне же и в молодости, и сейчас намного симпатичнее Агафья Матвеевна Пшеницына, с её нерассуждающим самопожертвованием и до самозабвения нетребовательным чувством. Не перестаёт удивлять и восхищать чувственно-пластический и одновременно абстрактно-обобщающий дар Гончарова; он и в женских образах своего романа явил читателю два главных и вечных женских типа – тип женщины деятельной, требовательной, пересоздающей своего партнёра, и тип женщины, безоглядно, без малейшей рефлексии жертвующей собой.

Пожалуй, именно пространственная и временна́я всеобщность центральных героев делает бессмысленными вопросы «кто прав?» и «за кем будущее?», поскольку каждая эпоха требует своего: иногда Штольцев, иногда Обломовых. Но если человек так и не обретает осознания своего предназначения на земле, личного ощущения смысла своего существования, жизнь его неизбежно окрасится в горестно-трагические тона – как это и произошло со всеми без исключения героями центрального романа Гончарова.

В 1990-е годы не было семьи, в которой так или иначе не обсуждались бы происходящие в стране перемены. Долгое время, чуть ли не двадцать лет, после маминой смерти в 1979 году я в день её рождения 2 ноября собирала у себя за столом её ближайших друзей, и о чём только не говорилось и не вспоминалось на этих застольях! И вот в 1991 году, вскоре после августовского путча, самая близкая мамина подруга Глафира Васильевна Москвичёва, профессор-филолог, специалист по XVIII веку, которую я очень любила и внутренние нравственные ценности которой необычайно высоко ставила, в ответ на мои пылкие восторги Ельциным и его командой заметила: а ты не боишься, что вновь актуальной станет тематика пьес Островского и сказок Салтыкова-Щедрина? а в роли мужика, обслуживающего генералов, окажется весь сформировавшийся и выросший за годы советской власти интеллигентный «средний класс»? К сожалению, в этом пророческом замечании оказалось слишком много правды. Сказки Салтыкова-Щедрина действительно вновь превратились в увлекательное и насыщенное ассоциациями чтение. Едва ли не актуальнее замусоленного на школьных уроках «Премудрого пискаря» звучит сегодня «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», и в роли мужика оказывается как раз «совковая» интеллигенция: врачи, учителя, инженеры… Им, «тунеядцам», «сытые, белые да весёлые» генералы изредка высылают «рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!» Кстати, становится до боли очевидным, что кардинально меняться должны обе стороны этого вечного конфликта.

Тургенев – один из любимейших писателей моего отрочества, а привязанность к Базарову не покидает меня до сих пор. «Мне нравится в нём даже его грубость!» – восклицала одна из моих старших подруг. Конечно, я старалась обнажать перед подростками все опасности безоглядного нигилизма, которому они неизменно симпатизируют уже в силу возрастной психологической структуры. В ход шли и доводы о необходимости внимания к близким, и рассуждения о неизбежном при нигилистическом мировоззрении разрушении собственной личности, и предупреждения типа, что плевать на окружающее и окружающих удобнее, находясь не внизу, а наверху социальной лестницы. Однако магнетизм Евгения Базарова продолжал делать своё дело. Масштаб его личности во всей полноте обнаруживается на пороге смерти.

Я не открою Америки, если скажу, что смерть героя – почти всегда важнейшее событие произведения (как и человеческой жизни). Смерть может быть вспышкой-прозрением смысла (или бессмыслицы) прожитой жизни (например, смерть Ивана Ильича в одноимённом рассказе   
Л. Толстого); соприкосновением с тем, что находится за пределами земного существования и не может быть постигнуто живыми (так умирает Андрей Болконский); простым воссоединением с вечным миром (Платон Каратаев); наконец, художник может изобразить бессознательную смерть заснувшей души (так, во сне, умирает Обломов).

В романе Тургенева перед нами – смерть-поступок, смерть, до конца высвечивающая истинную суть живого героя. Тут нет ни примирения с жизнью, ни переосмысления её, ни сотрясающего прозрения. Есть раскрытие всех лучших качеств личности, с человека упала маска – и он предстаёт в своём истинном нравственном величии.

Влюблённый в Базарова Д.И. Писарев утверждал: «Умереть так, как умер Базаров, – всё равно что сделать великий подвиг…» (Д.И. Писарев. Базаров. «Отцы и дети», роман И.С. Тургенева).

Обычно перед тем, как приступить к Толстому и Достоевскому, учителя-словесники дают обзорный портрет «лишнего человека», представленного в русской литературе первой половины XIX века.   
В советской школе вокруг этого типа колыхалось облако некоего снисходительного, а иногда даже презрительного сожаления. Между тем людям, оказавшимся вне привычных социальных лифтов, следует скорее сочувствовать, а может быть, и восхищаться тем диагнозом, который они ставят окружающему обществу, с разной, впрочем, степенью осознанности выносимого приговора.

«Во многой мудрости много печали», «нет пророка в своём отечестве» – эти истины сопутствуют человечеству на протяжении всего его существования. Двигают общество вперёд, толкают его к рефлексии именно «лишние люди», и недаром самые чуткие и талант-  
ливые писатели вылавливают соответствующие крупицы в необъятном   
человеческом океане. Стремление разгадать и реализовать свой Богом или судьбой данный потенциал свойственно почти каждому (евангельская притча о талантах – одна из самых моих любимых), и каждая не-  
удача или удача на этом пути достойна художественного рассмотрения.

Чацкий, Онегин, Печорин, Рудин, Базаров, Бельтов, даже Обломов –   
всем им свойственно нечто общее: огромная потенциальная способность к общественному и личному действию – и трагическая невостребованность, доходящая до отвержения и отторжения. А Григорий Мелехов, Юрий Живаго, булгаковский Мастер? Зилов из «Осенней охоты» Вампилова? Лёва Одоевцев из «Пушкинского дома» Битова? Шукшинские чудаки? Неприкаянные герои Довлатова?

Не знаю, какое слово поставить в конце этого абзаца. Печально?   
А может быть, обнадёживающе? Невостребованность личности – трагедия не столько для неё, сколько для общества. Но диагноз, поставленный последнему, дорогого стоит.

Одна из непосильных задач для учителя русской литературы за последние тридцать лет – заставить (уговорить) учащихся прочитать роман «Война и мир». Не надо думать, что проблема эта появилась только в последние годы. Отчасти спасла положение экранизация, с замечательной тщательностью выполненная С. Бондарчуком, но только отчасти. Сегодня же упомянутая выше задача стала сродни подвигу Геракла.

Между тем именно в наше время роман Толстого надо бы прописывать «юноше, обдумывающему житьё» как витамин С, да что там витамин – как сильнодействующее лекарство, спасающее от ипохондрии и пессимизма, для которых, согласимся, в окружающей действительности масса поводов и оснований. Опьянение жизнью и счастливая благодарность за неё неиссякаемым потоком льются со страниц всех четырёх томов. Как я уже писала, «Войну и мир» создавал гений, находясь на вершине доступного ему человеческого счастья: учился, воевал, путешествовал, начал печататься, благоустроил имение, счастливо женился, рядом двое чудесных здоровых детей, жена своими руками переписывает страницы романа… А рядом с этим ликующим опьянением – неустанный нравственный поиск, переданный автором всем своим любимым героям. Ещё не наступило похмелье беспощадного разочарования, ещё не померкла надежда добиться, изменить, переворошить, пусть позади война, смерть, лишения, но жизнь продолжается, торжествует любовь, и на последних страницах великой книги мальчик мечтает о своём будущем неведомом подвиге.

За свою жизнь я перечитывала роман раз пять, и нет ничего удивительного в том, что каждый раз в нём открывались новые смыслы. Но главное – не иссякал оптимизм, внушаемый текстом, не тускнела росистая свежесть толстовского мироощущения. Кстати, темой моего вступительного сочинения в университете было «Герои произведений Л.Н. Толстого в поисках правды и смысла жизни»… Много позже я напоминала своим ученикам, что все помянутые герои были людьми материально обеспеченными и достаточно благополучными; что же заставляло их метаться, искать, ошибаться и вновь стремиться к неведомому идеалу? Нравственная истина не только существует, но и оказывает несомненное воздействие на нашу повседневную жизнь, «а спокойствие – душевная подлость», напоминает Лев Николаевич.

Не устаю восхищаться художественной смелостью Толстого, которая с особенной силой сказывается в знаменитой «диалектике души», в изображении разительной противоречивости душевных движений.   
Я приводила ребятам множество соответствующих примеров и, в частности, эпизод из первой части первого тома, когда Пьер, только что совершенно искренне давший своему старшему другу князю Андрею честное слово не ездить больше на разгульные пирушки к Анатолю Курагину, всё-таки отправляется к последнему, успокаивая себя довольно пустопорожними силлогизмами. А ведь трудно найти в романе героя «положительнее» Пьера. И такое у Толстого на каждом шагу – как, впрочем, в жизни каждого из нас; просто лишь редким единицам достаётся дар беспощадного самонаблюдения и самоанализа (впрочем, самоанализа, не разрушающего личность – ещё одно свидетельство нерушимого душевного здоровья автора «Войны и мира»).

А язык Толстого! Я часто упоминала на своих уроках о знаменитом сравнении Наташиной улыбки с отворяющейся «заржавелой дверью» (четвёртая часть последнего тома; встреча Пьера с Наташей у княжны Марьи). Наташа – главная героиня романа, в неё влюбляются все молодые персонажи, это сама прелесть и обаяние, и чтобы уподобить её улыбку заведомо «непоэтическому» предмету – для этого надо было уметь отбрасывать и не замечать бесчисленные инерционно-литературные табу. Из таких якобы мелочей и рождалась девственная свежесть толстовского текста, которая завораживает до сих пор. Кстати, значение слова «дверь» буквально в следующей строке расширяется и обогащается: это уже не только дверь как деталь обстановки, это дверь –   
порог, дверь, позволяющая войти в пространство не физическое, но душевное.

У Василя Быкова в повести «Обелиск» есть поразительная деталь: в оккупированной немцами белорусской деревне учитель Мороз, за неимением учебников и тетрадей, читает с ребятами «Войну и мир» – день за днём, страницу за страницей, в уверенности, что такое чтение – один из лучших способов образования и воспитания. Он был прав, Алесь Иванович Мороз, сельский учитель, добровольно пошедший на казнь со своими мальчишками, схваченными за попытку сопротивления фашистам.

Во множестве военных мемуаров зафиксировано, с какой жадностью в годы Великой Отечественной читали и перечитывали роман Толстого. Кажется, наступает пора повторить этот опыт самоочищения и самоподъёма нации – вот только найдутся ли силы и, как модно сейчас говорить, триггеры для него.

В сущности, «Преступление и наказание» – очень опасное произведение для юношеского чтения, опасное в силу неодолимого обаяния Родиона Раскольникова. На всех занятиях по Достоевскому мне приходилось вступать в нескончаемые дискуссии о возможности оправдания греха, и какие только доводы «в пользу преступника» не приходилось выслушивать! Кстати, привлекательность центрального героя обусловливается не только тем, что он «замечательно хорош собой», незаурядно умён и способен на искреннее благородство. Достоевский изображает его преступление («переступление» через запретный для человечества нравственный порог) как способ избавиться от удушающих материальных и моральных тисков, и в обнажении корней преступления невольно (а может быть, и сознательно) заключается возможность его оправдания. Видимо, личный каторжный опыт общения с «переступившими» подвёл писателя к выводу, что интегральная причина множества преступных деяний – это гложущее желание вырваться из удушья, из тесноты, желание «расправить плечи» и удовлетворить, наконец, свои насущные и вовсе не преступные потребности. Конечно, в данном случае речь не идёт о подлостях и преступлениях хищников, стяжателей и циников по природе, таких, как князь Валковский из «Униженных и оскорблённых» или Смердяков из «Карамазовых». Но жуткие немотивированные расправы с беззащитными людьми в публичных местах – в школах, в магазинах, на площадях, так распространившиеся и у нас, и на Западе, – не порождены ли они той самой «теснотой», тёмными и узкими каморками, лестницами и переулками вокруг Сенной площади «достоевского» Петербурга? В расширительном, разумеется, смысле.

Неотразимо показал Достоевский соблазн индивидуализма. Невозможность «расправить плечи» снова и снова обращает молодые глаза в глубь собственной личности, и все, пусть даже несомненные, её достоинства начинают уродливо преувеличиваться и искать своей реализации через головы других. «А опасен этот подавленный, гордый энтузиазм в молодёжи!» Нам бы сейчас в России вновь прислушаться к Порфирию Петровичу. Он, на мой взгляд, самый достойный и человечный оппонент Раскольникова, носитель и защитник не подлежащих сомнению и поруганию нравственных ценностей. Он, а не Сонечка Мармеладова, и не на ней, а на нём стоит мир. Это Порфирий адресует Раскольникову замечательную «просьбицу» оставить, если «придёт охота… ручки этак на себя наложить», «краткую, но обстоятельную записочку. Так, две строчки, две только строчечки, и об камне упомяните [под которым спрятано украденное]: благороднее будет-с». То есть даже на пороге собственного уничтожения следует помнить об окружающем мире и своём долге перед ним: благороднее будет-с.

Для меня позиция Порфирия, его нравственная структура гораздо убедительнее той парадигмы христианских ценностей, которая определяет поведение Сони, князя Мышкина, Алёши Карамазова. Иногда кажется, что и сам Достоевский сомневается в силе и действенности помянутой парадигмы; недаром в его романах все бунтари и даже злодеи художественно убедительнее и привлекательнее её носителей. Чего стоит хотя бы бунт Ивана…

Именно Порфирий Петрович в ходе последнего разговора с Раскольниковым произносит так потрясшую Родиона Романовича фразу: «Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!» Мне часто приходит на ум в связи с этим пожеланием пастернаковское:

Остальных пьянила ширь весны и каторги.

«Лейтенант Шмидт»

Ширь и весна, не будем забывать, покупаются покаянием.

И вновь об эпохе застоя (1972–1985)

Вернусь в семидесятые годы прошлого (уже прошлого!) века. Для меня это десятилетие насыщено плотной, активной и всегда интересной профессиональной работой.

Одной из любимейших книг моих семидесятых стали «Невыдуманные рассказы» В. Вересаева. Пожалуй, страсть к документалистике и non-fiction зародилась именно тогда. Всё-таки нарратив для прозы как читательский мотор необходим, а потребность в художественном украшательстве с годами слабеет. В кратких фрагментах и эпизодах нагая точность повествования сопрягалась с красочностью редких деталей портрета, жеста, пейзажа – и с глубиной мысли. Помню, особенно меня поразили вересаевские размышления о смерти как одном из самых волнующих и интересных событий жизни и его признание в том, что он ждёт собственного конца как яркого и значимого приключения. Сказанное подкреплялось цитатой из «Прометея» Гёте:

Прометей.

То смерть была, Пандора.

Пандора.

Смерть?

А что это такое?

Прометей.

Дочь моя!

Ты много радостей познала,

Немало и страданий.

И сердце говорит тебе,

Что в жизни много радостей осталось

И много горя,

Которых ты не знаешь.

И вот приходит миг,

Который всё в себе вмещает, – всё,

Чего желали мы, о чём мечтали,

На что надеялись, чего боялись.

И это – смерть.

Когда в душевной глубине

Ты, потрясённая, вдруг чуешь всё,

Что хоть когда-нибудь давало радость, горе,

И в буре расширяется душа,

В слезах себя стремится облегчить,

И жар в душе растёт,

И всё звенит в тебе, дрожит и бьётся,

И чувства исчезают,

И кажется тебе, что вся ты исчезаешь

И никнешь,

И всё вокруг куда-то никнет в ночь,

И в глубоко своём, особом ощущенье

Ты вдруг охватываешь мир, тогда...

Тогда приходит к человеку смерть.

Пандора.

Отец, умрём!

Прометей.

Нет, час ещё не пробил.

Это достаточно редкое для русского писателя отношение к смерти стало для меня утешительным глотком свежей воды.

Зимним вечером, засидевшись в Ленинской библиотеке, я лихорадочно дочитываю в свежем номере «Нового мира» «Белый пароход» Чингиза Айтматова. В истории мальчика, который впервые столкнулся с непоправимым и неодолимым злом и предпочёл уйти из жизни –   
«превратиться в рыбу» и уплыть к неведомым и прекрасным белым пароходам, была ранящая конкретика современного мифа. Бессилие добра, воплощённое в страдающих глазах Матери-оленихи, позже превратилось для меня в сигнал десятилетия. Реальной оставалась только возможность сохранить личную порядочность – впрочем, это не так уж мало. Кстати, сходное впечатление ранее оставила ещё одна прекрасная повесть – «Беглец» Н. Дубова (1966). Пронзительная интонация обеих повестей, не нарушенная ни одной фальшивой нотой, долго будоражила живое чувство нравственности, без которого жизнь превращается в существование.

Айтматов мне запомнился ещё со времён его первых повестей, среди которых особенно полюбился «Тополёк мой в красной косынке». Однако его зрелые романы «И дольше века длится день…» и «Плаха», как мне кажется, потеряли аромат свежести, аромат «чистоты нравственного чувства» (знаменитое выражение Чернышевского, характеризующее «талант графа Толстого»). Полностью отдаю должное умению Айтматова находить, ставить и художественно оформлять важнейшие проблемы современности – чего стоит хотя бы образ манкуртов! – но любимым чтением его романы не стали. А «Белый пароход» трогает до сих пор.

Главным военным прозаиком 1970-х для меня стал Василь Быков. Что мы знали к 1970-м годам о войне? «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Молодую гвардию» А. Фадеева, партизанские «документальные» повести и романы Д. Медведева («Это было под Ровно» и др.), симоновскую трилогию «Живые и мёртвые»… Всё было просто и понятно: вот фашисты, вот наши, мы – герои и наше дело правое.   
И конечно, «…а значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». Но какой была эта цена?

Василь Быков не просто ставил этот вопрос, он пытался на него ответить – с той предельной честностью, от которой шевелились волосы и бежал озноб по спине. В центре его вещей оказывалась не героическая, а моральная проблематика: нравственная цена поступков командиров и солдат, фашистских наёмников и партизан. Какое множество нестандартных, живых, достоверных характеров! Особенно запомнились повести «Сотников» (1970) и «Обелиск» (1972). Демонстративно негероический облик Сотникова, как бы воплощающий фальшивый советский миф об «интеллигентишке», скульптурно обнажает анатомию его подвига, в истоках которого оказывается вовсе не верность какой-то абстрактной идее, а невозможность изменить себе, невозможность избавиться от сосущей жалости и сочувствия к другим безвинным жертвам. Разящая убедительность отличает также историю предательства Рыбака, страшную неизбежность каждой последующей ступени его падения. Знаменитая экранизация этой повести («Восхождение» Ларисы Шепитько), безусловно, очень талантлива, но она подчёркивает евангельские ассоциации к истории Сотникова; текст Быкова к такому однозначному толкованию читателя не подталкивает, не становясь от этого менее убедительным в исследовании причин, которые заставляют человека отдать «душу свою за други своя». Та же невозможность подлинно совестливой личности изменить не столько принципам своим, сколько своей нравственности обнажается в повести «Обелиск»: деревенский учитель Алесь Иванович Мороз просто физически не может оставить своих обречённых на казнь учеников и добровольно отдаётся в руки немцев, чтобы разделить судьбу мальчишек. Помню, как многие из первых читателей этой повести присоединялись к тем её персонажам, которые осуждали поступок Мороза: кому он помог? ребята всё равно были обречены… убил ли он хоть одного немца? Самый убедительный ответ даёт в повести Ткачук, рассказчик этой истории:

«…Вы всё хотите втиснуть в две-три расхожие схемы, чтоб попроще! И поменьше хлопот. Убил немца или не убил?.. Он сделал больше, чем если бы убил сто. Он жизнь положил на плаху. Сам. Добровольно. Вы понимаете, какой это аргумент? И в чью пользу…»

Так Быков учил *сомневаться*, давал возможность неоднозначной и объёмной оценки военного прошлого. А ведь без этого невозможно не только искреннее уважение к своей Истории, но также извлечение уроков на будущее. Вот чего не хватило Симонову, вот почему его неприкрашенные военные дневники («Разные дни войны») стократ интереснее растиражированной трилогии «Живые и мёртвые». Несмотря на прекрасную экранизацию первого романа в 1963 году, трилогия так и не стала подлинно народным чтением.

Позже Василь Быков с той же ранящей силой обратился к трагедии коллективизации. Совсем недавно я перечитала «Знак беды» (создан в 1982 г.) и вновь восхитилась тревожным быковским талантом, оставляющим долгое послевкусие анализа. Супружеская пара Петрока и Степаниды являет нам образы двух жертв бесчеловечных обстоятельств (колхозного быта и фашистской оккупации): жертву пассивную (Петрок), которому, казалось бы, остался только шаг до полной сдачи, до предательства и который всё-таки находит в себе силы на достойный ответ врагу, пусть ценой жизни, – и жертву активную (Степанида), с её вольной и невольной виной в раскулачивании, которая искупает эту вину ценой своей жуткой огненной смерти, равной отчаянному подвигу.

Замечательна образная специфика быковского текста: вроде бы он постоянно пишет о весьма далёких от городского жителя мельчайших подробностях деревенского и лесного партизанского быта, но мир крестьянского творчества, мир освоения суровой и дикой действительности неодолимо увлекает и захватывает.

А его «Облава» (1988), крохотная повесть о сбежавшем из сталинских лагерей раскулаченном, за которым в наконец-то обретённых родных местах охотится огромный отряд энкавэдэшников во главе с его собственным сыном? Мы не ценим свою литературу… Эта вещь, кстати, пронзительнее и сильнее нашумевшей «Зулейхи…» Гузели Яхиной.

Рано заявил о себе ещё один военный прозаик, которого я полюбила и долго продолжала читать: Юрий Бондарев. Его первая вещь, «Тишина» (1962), восхитила практически всех. Ещё не остывшая правда вхождения фронтовика в мирную жизнь и горечь послевоенных сталинских репрессий, сумрачный, отчаянный и молодой образный колорит, обаяние женских характеров – всё это многое обещало. Нестандартным оказался и роман «Берег» (1975), хотя искренности в нём поубавилось. Самым интересным в романе мне видится не история «запретной» любви Никитина и Эммы, не ностальгия по жертвенному и безупречному лейтенанту Княжко, не смачно выписанный старлейт Гранатуров, а сержант Меженин. Первоклассный вояка, но какой мерзкий и страшный характер, выписанный с нескрываемой ненавистью – такую ненависть вызывает только лично пережитая действительность. Роман был очень популярен.

В 1960-е годы повальное увлечение научной фантастикой меня миновало, хотя Серёжа, мой двоюродный брат, собравший в своей библио-  
теке несметное множество соответствующих произведений, прожужжал мне все уши о замечательных книжках Лема, Брэдбери и, конечно, Стругацких. В те времена поразил меня, однако, только «Солярис» – силой фантазии автора в изображении неведомого инопланетного ра-  
зума и нестандартным подходом к проблеме Контакта (установкой связи с человечеством не через разум, а через подсознание). Вообще жанр фэнтези до сих пор мне совершенно чужд, несмотря на его сегодняшнее триумфальное шествие по миру. Многотомная Поттериана кажется до примитива наивной; из любопытства удалось одолеть пару томов –   
не больше, хотя известное обаяние текста я почувствовала. Даже Толкин, с его «Властелином колец», оставил равнодушной, не говоря уже о «Борьбе престолов» и прочем.

Вернусь к братьям Стругацким. Первым произведением, которое меня поразило – да что там поразило, сразило наповал! – был «Пикник на обочине» (1972), и я до сих пор считаю его лучшей их вещью. В ней нет переусложнённости фантастическими деталями, она легко читается, и вместе с тем наличествуют замечательно ёмкие символы: Вторжение, Зона, Сталкер. Недаром два последних термина вошли в активный словарный запас нашего общества.

Именно в этой повести Стругацкие мужественно решились на развенчание мифа о Человеке, который сами же они активно формировали и поддерживали в прежних произведениях (чего стоит трогательный роман «Полдень. XXII век (Возвращение)») и который был так важен для советского официоза. И развенчание осуществляется не столько на логическом, рациональном, сколько на интуитивно-эмоциональном уровне: именно поэтому оно так действует на читателя и заставляет его надолго задуматься.

Позже были «Жук в муравейнике» (1980), «Волны гасят ветер» (1986), «Улитка на склоне» (1988) и многое другое (называю самое запомнившееся). Но в этих вещах не оказалось такого объёмного, живого и обаятельного характера, как Рэд Шухарт, такой великолепной прописанности и отделанности, такой гармоничной композиции. И такой дивной концовки, которую я мысленно не устаю повторять:

…Жарило солнце, перед глазами плавали красные пятна, дрожал воздух на дне карьера, и в этом дрожании казалось, будто Шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он [Рэдрик Шухарт. – *Н.Р*.] прошёл мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше и следя, чтобы не наступить на чёрные кляксы, а потом, увязая в рыхлости, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему Шару. Он был покрыт потом, задыхался от жары, и в то же время морозный озноб пробирал его, он трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву: «Я животное, ты же видишь, я животное. У меня нет слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой… всемогущий, всесильный, всепонимающий… разберись! Загляни в мою душу, я знаю, там есть всё, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал! Она моя, человеческая! Вытяни из меня сам, чего же я хочу, – ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого!.. Будь оно всё проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов: «СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!»»

Простая мысль о том, что все идеологии преходящи и временны, а незыблемы лишь ценности, и в очень небольшом количестве, выражена здесь отчётливо, ясно, с библейской силой.

В 1970-е одна за другой появляются повести Валентина Распутина. Интересно, что я потянулась к его страницам из-за того, что Распутина активно читали и обсуждали на родине моего отца, в городке моего детства – в Ветлуге.

Такие вещи, как «Деньги для Марии» (1967), «Последний срок» (1970), привлекли сатирической и трагической точностью деталей, печальным юмором, сочностью письма. Однако в мощном симфоническом звучании повестей «Живи и помни» (1974) и «Прощание с Матёрой» (1976) уже почудилось что-то чрезмерно надрывное и слишком высокопарное.

Вообще наша «деревенская проза» представляется мне литературой не совсем естественной, выполненной сорванным голосом. «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?..» Этой прозе не хватает общедоступной, общечеловеческой струны. Вряд ли её будут перечитывать. И дело вовсе не в чуждости деревенского быта городскому жителю – скажем, В. Быкову этот самый дотошно выписанный быт не мешает.

Короче, от Распутина, при всей прекрасно осознаваемой мощи его таланта, я отошла. Гораздо больше удовольствия доставлял Владимир Солоухин. При моём «лесном» детстве и никуда не девшейся страсти к сбору грибов в «Третью охоту» (1967) я просто влюбилась. «Письма из Русского музея» (1967) и «Чёрные доски» (1968) тоже зачитывались до дыр. Восхитил рассказ «Похороны Степаниды Ивановны» («Новый мир», 1987), заклеймивший бессмысленный и оскорбительный советский бюрократизм, помноженный вдобавок на дефицит всего и вся.

Поздний Солоухин, с его страстным отторжением советского эксперимента, с яростным и ненавидящим открытием подлинной личности Ленина («При свете дня» (1992)), с нелепым, но выстраданным монархизмом привлёк меня неподкупной и безоглядной искренностью чувства. Безусловно, я не могу согласиться с кипящим антисемитизмом его «Последней ступени» (1995), но от распахнутости души и текста трудно оторваться. Прощаем же мы антисемитизм Достоевскому. Конечно, Солоухин не Достоевский, но он искренен – а это дорогого стоит.

Одной из самых значимых книг десятилетия 1970–1980 стал «Тяжёлый песок» (1978), и не только для меня. Не сомневаюсь, что это лучший роман Анатолия Рыбакова, в котором он резко превзошёл размеры своего достаточно скромного, хотя и несомненного дарования –   
то ли под воздействием кровно близкой ему еврейской темы, то ли из-за масштаба и ответственности художественной и социальной задачи –   
показать (в сущности, впервые) широкому российскому читателю ужас, трагизм, непоправимость и бесчеловечность Холокоста.

И ещё одно потрясение 1978-го года – «Алмазный мой венец». «Мовистскую» прозу В. Катаева читала в основном интеллигенция, которую восхитил и «Святой колодец» (1966), и «Трава забвения» (1968), и «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» (1972). Действительно, по-настоящему оценить эту обрывистую, предельно насыщенную литературными и общекультурными ассоциациями прозу, в которую так естественно и ошеломляюще неожиданно вкрапливаются нарочито напечатанные «в строку» великолепные и зачастую неизвестные стихи самых разных авторов, может только достаточно подготовленный читатель. Но «Алмазный мой венец» читали все! И говорили об этой книге так много, как редко о какой другой. Всё-таки уровень культуры городского советского общества был чрезвычайно высок. За Командором, мулатом, королевичем, щелкунчиком, синеглазым вставали   
и легко угадывались дорогие всем без исключения фигуры Маяковского, Пастернака, Есенина, Мандельштама, Булгакова. Я в эту прозу влюбилась безоговорочно, и меня безмерно удивляла реакция многих наших университетских филологов (среди них – любимицы студентов Ариадны Николаевны Алексеевой), что книжка Катаева, по существу, вредная, развенчивающая и принижающая великие тени прошлого. Да почему же, господа? Откуда такое недоверие к массовому читателю? Ведь, во всяком случае, по-своему этот читатель не глупее «посвящённых и причастившихся» знатоков.

Тексты позднего Катаева восхищали меня не только поразительной пластичностью, живописной выпуклостью, ненавязчивой, но гигантской эрудицией, грустным лиризмом. В них была тайна времени, приводящая одновременно в ужас и восторг.

Заканчивая разговор о десятилетии 1970–1980, надо бы добавить пару слов о детективах, пристрастие к которым тоже никуда не делось. В этой связи невозможно обойти Юлиана Семёнова, особенно его многотомную эпопею об Исаеве-Штирлице. В сущности, только два литературно-кинематографических персонажа советского времени стали устойчивыми героями массовых анекдотов: Чапаев (вкупе с Петькой и Анкой) и Штирлиц (вкупе с Мюллером, Плейшнером и радисткой Кэт), а это свидетельствует о том, что Семёнов нащупал какую-то конституирующую точку общенародного советского сознания.

Мне до сегодня чужд снобизм высокоинтеллектуального читателя. Качественную массовую литературу нельзя не любить уже потому, что невозможно питаться одними пирожными – желудок не выдержит.   
А Юлиана Семёнова начала читать ещё в 60-е, после блистательно вылепленных детективов о советской милиции «Петровка, 38» (1963) и «Огарёва, 6» (1972). Эту линию он потом продолжил, и тоже удачно – недаром почти все соответствующие романы экранизированы: «ТАСС уполномочен заявить» (1979), «Противостояние» (1979), «Тайна Кутузовского проспекта» (1990). Эпопея о Штирлице, на мой взгляд, загублена многословием и утомительной фактологической насыщенностью трёхтомной «Экспансии» (1984), хотя в завершающем романе 1990-го года «Отчаяние» (о трагическом возвращении Исаева в СССР позднего сталинизма) вновь ожила звенящая нервная нота «Семнадцати мгновений весны» (1969).

А вот фильму Татьяны Лиозновой бессмертие гарантировано, и дело не только в блистательном кастинге, мужественном лиризме музыки Таривердиева, невероятной одарённости режиссёра. Прежде всего главный герой, суть которого, как перчатка, слилась с личностью и физическим обликом Вячеслава Тихонова, являет собой Мужчину с большой буквы, человека мысли и действия.

Гласность! Гласность? Гласность… (1986–1989)

Начну с 1986-го. Самым ярким литературным впечатлением этого года, знаменующим собой начало гласности, стал, конечно, «Печальный детектив». В. Астафьев, по моим воспоминаниям, вовсе не являлся «писателем для всех», читали его немногие, хотя имелись и стойкие приверженцы. Однако из моих знакомых не оказалось ни одного, кто прошёл мимо «Печального детектива». Это был сгусток мерзостей российской жизни и худших черт нашего российско-советского характера, брошенный в лицо растерянному читателю, «возжаждавшему» истины: ты хотел правды? – пожалуйста!

Ошеломление от новой астафьевской прозы во многом объяснялось тем, что долгие годы из массовой советской литературы тщательно изгонялась всякая «чернуха»; редкостью была также гневная обличающая публицистика. Позже и того и другого оказалось в избытке; как всегда при раскачивании вечного российского маятника, люди быстро устали от нагнетания тщательно отыскиваемых и любовно смакуемых ужасов и, боюсь, надолго потеряли способность адекватно оценивать последние. Так, повесть В. Распутина 2003 года «Дочь Ивана, мать Ивана», с её нарочито сгущённым мрачным и безысходным колоритом, мало кто заметил, несмотря на повсеместный успех сходного по фабуле фильма «Ворошиловский стрелок» (убийство насильника дочери в первом случае совершает мать, во втором с обидчиками внучки жестоко расправляется дед).

А ведь в русской литературе такие сгустки честной, злой и чёрной правды вовсе не новость. Одним из самых болезненных книжных впечатлений моего отрочества была автобиографическая трилогия   
М. Горького: помню ощущение физической тошноты от некоторых страниц и стойкую боязнь перечитывания. Отчаянное восклицание Алексея Максимовича, оправдывающегося за мрачность своего текста:

Зачем я рассказываю эти мерзости? А чтобы вы знали, милостивые государи, –   
это ведь не прошло, не прошло! Вам нравятся страхи выдуманные, нравятся ужасы, красиво рассказанные, фантастически страшное приятно волнует вас. А я вот знаю действительно страшное, буднично ужасное, и за мною неотрицаемое право неприятно волновать вас рассказами о нём, дабы вы вспомнили, как живёте и в чём живёте.

М. Горький. «В людях»

А кипящая ярость Герцена при воспроизведении жутких и абсурдных эпизодов николаевской эпохи? Его выплеснутое в «Былом и думах» проклятие?

Да будет проклято царствование Николая во веки веков, аминь!

Не думаю, что время Николая I было сплошь чёрного цвета, как и последняя четверть XIX века, к которой относятся воспоминания Горького. Настройка исторической оптики никогда не бывает объективной, и мне, при моём всегдашнем внутреннем стремлении к справедливому уравновешиванию противоположностей, не по душе больное выпячивание гнойных ран. Нет слов, время от времени общество нуждается в такой литературе. Равнодушных к «Печальному детективу» просто не было; помню пылкие дифирамбы одних, возмущённые опровержения других и осторожное осуждение третьих. Книги подобного рода требуют обязательного перечитывания, с последующей корректировкой первоначального впечатления.

А Виктор Петрович Астафьев так и остался на проложенной им скорбной обличительной тропе и даже зашагал по ней дальше: «Людочка» (1987), «Прокляты и убиты» (1995)…

1987-й. Три литературных события: «Собачье сердце» Булгакова, «Реквием» Ахматовой и «Дети Арбата» А. Рыбакова.

Булгаков уже давно стал моим любимцем, каждая его строчка ловилась на лету и долго смаковалась. Искрящийся юмор, до озноба живые характеры, фантастический и вместе с тем жутковато реальный сюжет –   
всё это поначалу отвлекало от главного пафоса повести. А ведь он страшен: люди от природы вовсе не равны друг другу, и из человека с холопьей собачьей натурой никогда не выйдет ни профессора Преображенского, ни даже доктора Борменталя. Общий язык между этими стратами также недостижим: Шариков может договориться только со Швондером. Попытка же волюнтаристски стереть черты неравенства – природного, социального, рокового – обязательно приведёт не только к трагедии, но и к истреблению несчастного попытавшегося.

Кстати, вовсе не «Белую гвардию», а «Собачье сердце» надо бы ввести в школьную программу: подростку ближе, понятнее, да и полезнее именно такой сюжет, насыщенный конкретными, живыми, но глубоко символическими фигурами и прозрачно зашифровывающий одну из главных проблем человечества.

О «Реквиеме» в наших кругах говорили давно, ненасытно ждали его появления, повторяя бог весть откуда долетевшие отдельные строчки. Может быть, из-за этих, много лет копившихся ожиданий и надежд от наконец доступного текста возникло некоторое… не разочарование, а ощущение чего-то несбывшегося. Однако после множественного перечитывания начинаешь ценить каждое слово, в особенности когда по крупицам соберёшь, представишь, осознаешь и поймёшь историю его создания.

Что до моего личного восприятия… Обнажённое страдание центральных стихотворений (I–X) долго заставляло целомудренно отводить глаза от кровоточащих строк. К тому же только сейчас, уже в старости, после неоднократного обращения ко всем четырём Евангелиям, начали добираться до сердца библейские ассоциации: «холод иконки», «твой высокий крест», скорбное материнское одиночество перед распятием. А тогда, в конце восьмидесятых, самыми любимыми, сразу запомнившимися наизусть, стали «Вместо предисловия», «Посвящение», «Вступление» и, конечно, «Эпилог». Счастье, что памятник Анне Андреевне работы   
В. Реппо и Г. Додоновой поставлен напротив «Крестов», и её молодая, гибкая, стройная фигура вполоборота обращена как раз к тому месту,

…где стояла я триста часов

и где для меня не открыли засов.

Самым уничтожающим проклятием сталинской эпохи, произнесённым Ахматовой, мне видится всё же не «Реквием» (который, в полном соответствии с названием, являет собой траурное поминание жертв), а два поистине страшных стихотворения 1937 и 1940 годов:

ПОДРАЖАНИЕ АРМЯНСКОМУ

Я приснюсь тебе чёрной овцою

На нетвёрдых, сухих ногах,

Подойду, заблею, завою:

«Сладко ль ужинал, падишах?

Ты вселенную держишь, как бусу,

Светлой волей Аллаха храним…

И пришёлся ль сынок мой по вкусу

И тебе и деткам твоим?»

СТАНСЫ

Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь.

Как крестный ход идут часы Страстной недели…

Я вижу страшный сон. Неужто в самом деле

Никто, никто, никто не может мне помочь?

В Кремле не надо жить. Преображенец прав,

Здесь зверства древнего ещё кишат микробы:

Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы,

И Самозванца спесь – взамен народных прав.

В эти же годы дошёл до советского читателя и полный текст «Поэмы без героя». Очень люблю эту вещь, часто вслух читаю отрывки из неё, но до конца близкой и «моей» она так и не стала. Всё-таки было в характере Анны Андреевны нечто сатанинское; впрочем, возможно, что именно это и позволило ей выжить, сохраниться и отдать миру Бродского. А может быть, мне, из-за моего «нехристианского» мировоззрения, просто не дано постигнуть в её личности то, о чём Бродский говорил, цитируя её: «Ты не знаешь, что тебе простили…»

Только сатанинское знание человеческой души могло продиктовать такие стихи, как «Есть три эпохи у воспоминаний…». С неизменным холодом по спинному хребту перечитываю:

…И, раз проснувшись, видим, что забыли

Мы даже путь в тот дом уединённый,

И, задыхаясь от стыда и гнева,

Бежим туда, но (как во сне бывает)

Там всё другое: люди, вещи, стены,

И нас никто не знает – мы чужие.

Мы не туда попали… Боже мой!

И вот когда горчайшее приходит:

Мы сознаём, что не могли б вместить

То прошлое в границы нашей жизни,

И нам оно почти что так же чуждо,

Как нашему соседу по квартире,

Что тех, кто умер, мы бы не узнали,

А те, с кем нам разлуку Бог послал,

Прекрасно обошлись без нас – и даже

Всё к лучшему…

А стихотворение «Меня, как реку, жестокая эпоха повернула…»? Мы счастливы, что она у нас была. Как сказал В. Корнилов:

Век дороги не прокладывал,

Не проглядывалась мгла.

Бога не было. Ахматова

На земле тогда была.

«Анне Ахматовой». 1961

Ошеломляющий и повсеместный успех имел роман А. Рыбакова «Дети Арбата». Я и сегодня безоговорочно считаю этот роман гражданским подвигом Рыбакова. Дело не только и не столько в обращении к теме зарождающегося сталинизма, который в начале 1930-х годов   
уже начал шагать по трупам и ломать судьбы. Дело в том, что этот роман всем взявшим его в руки хотелось читать: там была молодость, страсть, любовь, трагические столкновения со злом и попытки противостоять ему, там была Москва с её Арбатом, институтами, заводами, ресторанами, коммунальными квартирами, Кремлём – там была жизнь. И там был Сталин.

В 1988-м главным произведением оказался всё-таки не «Доктор Живаго», а «Жизнь и судьба» В. Гроссмана. Гроссман в годы первого опубликования своего реквизированного в своё время романа и дальнейших его изданий поразил всех моих друзей, вплоть до того, что «Жизнь и судьбу» по силе общественного воздействия сравнивали с «Мастером и Маргаритой». Художественных открытий проза Василия Семёновича мне не принесла (исключая предсмертное письмо матери Штрума, но здесь сработала сила документа – практически это письмо матери самого автора, которую постигла та же страшная участь в немецком лагере уничтожения). Но, читая «Жизнь и судьбу», я снова и снова вспоминала слова Пушкина: проза… «требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат». И мыслей было в избытке.

То, что в Великую Отечественную народ воевал не только за Родину, но и за свободу, – святая правда, об этом говорил мой отец. Это чувствовали и осознавали очень многие фронтовики. Не все, но лучшие из них. И то, что Василий Семёнович – осознанно или нет – подражал своему кумиру Льву Толстому, в конечном счёте оправданно, потому что лишь реализм толстовской силы и бесстрашия мог справиться с художественной реализацией гроссмановских прозрений.

Прозе Гроссмана чуждо опьяняющее читателя «плетение словес», сила и драйв его нарратива в другом – в неуклонном, глубоком, точном и бесстрашном следовании действительной жизни. Для меня же опьянение словом с детства и по сию пору одно из любимых наслаждений; словесная игра, неожиданная ритмическая или образная находка, богатство ассоциативных реакций на фразу, слово, слог, звук не перестаёт удивлять и радовать. Однако повесть Л.К. Чуковской «Софья Петровна», в которой даже под микроскопом не найдёшь ни одного словесного изыска, потрясла до потрохов силой не только бытийно-философского, но и художественного удара.

Весьма существенно, что в образной ткани повести отсутствует переселение в героиню, там нет ни одной попытки повествования от первого лица или несобственно-прямой речи. Однако весь текст являет собой потрясающе достоверное изображение, как рядовая обычная женщина, хорошая жена и мать, добросовестная советская служащая, видит и воспринимает окружающую действительность, всё отчётливее обретающую черты бесчеловечного абсурда. Сама Софья Петровна описать происходящее с ней просто не в состоянии: сначала в силу очень мало присущей ей рефлексии, а затем просто из-за накрывающей её с головой немоты, которая заслоняет и спасает от ужаса. То, что повесть написана от отстранённого третьего лица, но как бы изнутри обыденного сознания главной героини, – поразительная заслуга Лидии Корнеевны. Ведь «Софья Петровна» создавалась в 1939 году, по кровавым неостывшим следам собственного трагического опыта, и как, наверное, велик был соблазн выхаркнуть всё горе, унижение, оскорбление собственным кровоточащим горлом! Но в отсутствии рефлексии по поводу происходящего кроется один из главных секретов успеха «Софьи Петровны».

Страшная повесть. Она ужасающе ясно показала, как в обычных, нормальных, хороших, нравственных людях просыпается, крепнет и побеждает нечеловеческое. Нечеловеческое отношение к миру, людям (в том числе и самым близким), наконец к себе.

Вполне понятно, что роман Е. Замятина «Мы», написанный в 1920 году по горячим следам грандиозной попытки этого самого переустройства, но дошедший до массового российского читателя лишь в том же 1988-м (спустя почти 70 лет), тоже читался с неослабным вниманием; к тому же подземные толчки, сигнализирующие о близости крушения кажущихся незыблемыми советских твердынь, раздавались всё чаще и ощутимее. Именно Замятину принадлежит честь написания первой блестящей антиутопии XX века, к которой позже присоединятся такие произведения, как «Приглашение на казнь» В. Набокова, «О дивный новый мир» О. Хаксли, «1984» Дж. Оруэлла, «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери.

Будущее угадать невозможно (ближе других к этой цели оказался Оруэлл), но можно угадать то, чего надо бояться в настоящем, и показать угаданное в законченном и гиперболическом развитии. Что же угадал Замятин? На мой взгляд, это не столько предельная рационализация личного и общественного существования, сколько мучительная прозрачность оного. Развитие современных информационных технологий отчётливо демонстрирует психологическую и социальную опасность помянутой прозрачности, понимаемой, разумеется, не так буквально, как стеклянные стены в Великом Едином Государстве (см. роман), но также вполне ощутимой субъектами, для которых она предназначена.

Второе предупреждение Замятина – об ужасе коллективизма. Как этот последний прославлялся в советские годы! Какой соблазнительной выглядит добрая мощь коллектива в таких произведениях, как «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях»! Я сама в отрочестве упивалась этими вещами Макаренко и только много позже стала осознавать, в какой непомерной степени изображённые там детские сообщества зависели от личности и воли их создателя. Местоимение «мы», давшее название замятинскому роману, в довоенные советские времена было сверхпопулярно и в поэзии, и в прозе; пылкий пролетарский поэт   
В. Кириллов, ныне совершенно забытый, восклицал:

Всё – мы,

во всём – мы,

мы – пламень и свет побеждающий,

сами себе Божество, и Судья, и Закон.

Но «мы», превращающееся в круглосуточного надсмотрщика и контролёра? «мы», среди которого скрыты Хранители – шпионы и каратели? Нет, увольте…

И третье, о чём буквально вопиет весь роман, это тоталитарное извращение человеческого сознания и культуры. Автор обнажает перед читателем специфическую структуру несвободного сознания: текст представляет собой записки благополучного обитателя и горячего сторонника Нового Мира, нумера Д-503, и как отчаянно цепляется герой за положительную и позитивную информацию, с какой страстью пытается оправдать всё жуткое и отвратительное, совершающееся перед его глазами, как не уверен он в самостоятельных движениях собственной души… Те, которых нынче презрительно и снисходительно называют «совками», не могли не примерять прочитанное к собственному жизненному и душевному опыту.

В том же 1988 году на советского читателя хлынул поток мемуаристики, начиная с записок бывших сталинских узников и кончая исповедями совестливых благополучных современников. Расскажу о трёх поразивших не только меня публикациях.

«Крутой маршрут» Е.С. Гинзбург впервые опубликовало, как и следовало ожидать, одно из прибалтийских издательств – к сожалению, не помню какое, потому что позже я приобрела другое, более полное издание, с фотографиями и примечаниями. Сколько раз я перечитывала эту книгу! Личность Евгении Семёновны, помимо своей бесконечной привлекательности и обаяния, кажется мне много крупнее и значимее личности её сына, Василия Аксёнова. Дело в том, что она – победительница своей судьбы, и эту волевую торжествующую интонацию не заглушить даже самыми драматическими поворотами «крутого маршрута» её тюремных, лагерных и ссыльных испытаний.

«Чёрные камни» Анатолия Жигулина непреложно свидетельствовали: сопротивление сталинизму было! Характерно, что воронежская подпольная КПМ (Коммунистическая партия молодёжи) появилась после войны, после осознания украденной победы, а главный её организатор Борис Батуев был не кем-нибудь, а сыном одного из хозяев области – второго секретаря обкома партии. Отсылаю заинтересовавшихся к тексту, а здесь замечу только, что, несмотря на неприкрашенный реализм повествования, общее впечатление было опять же светлым и обнадёживающим: мы всё-таки люди! люди!

А вот «Дневник» Юрия Нагибина, писателя, которого я любила и люблю, вопреки крайним неровностям его литературного наследия, «Дневник», сигнальный экземпляр которого он увидел за несколько дней до своей внезапной кончины… После этого текста светлого ощущения не оставалось. А ведь перед нами записки благополучнейшего советского интеллигента, лауреата, популярного киносценариста, состоятельного коллекционера антиквариата, страстного охотника и прочая, и прочая. Душу, что ли, не удалось сохранить неразрушенной?

Я много думала об этом случайно получившемся сопоставлении трёх исповедей. Но читать Нагибина было жгуче интересно! Иногда брало изумление: неужели можно так откровенно, на грани эксгибиционизма, писать о себе и близких, да ещё и отдать в печать? Каковы страницы о Гелле (этим именем Юрий Маркович прозрачно зашифровал Беллу Ахмадулину, одно время бывшую его женой)! Подобная ненависть похлеще иной любови…

Для читающего и мыслящего люда Советского Союза почти весь 1989 год прошёл под знаком Солженицына. «Новый мир», где редактором в то время был честный и совестливый Сергей Залыгин (хорошо помню его повесть 1964 года «На Иртыше», в которой уже в те времена рассказывалось о трагических абсурдах коллективизации), начал публиковать «Архипелаг ГУЛаг», а в следующем, 1990-м, вышло «Малое собрание сочинений» с романами «В круге первом» и «Раковый корпус».

При всём моём преклонении перед трагической прозой Варлама Шаламова, перед трагедией его жизни, при всём моём восхищении множеством шедевров из «Колымских рассказов» ближе мне всё-таки Солженицын, с его неугасающей верой в человека, уважением к его достоинству и попыткам это достоинство сохранить. Большинство солженицынских персонажей, и даже Иван Денисович, вовсе не безответные «терпилы»! Они не вылизывают чужие миски, не подличают, не унижаются, они – в нечеловеческих условиях – ухитряются заработать, а не выпросить своё право на жизнь: «У нас нет, так мы всегда заработаем!», по слову того же Ивана Денисовича. Трагедия – да. Но и преодоление! А значит, и надежда. Вот суть моего впечатления от «Архипелага».

Спустя год я залпом проглотила «В круге первом» и «Раковый корпус», а позже неоднократно их перечитывала. Впечатление менялось: текстовое богатство со временем оборачивалось разными сторонами, одни и те же персонажи то нравились безоговорочно, то вызывали отчуждение и даже отторжение. Но такого мгновенного и полного принятия, как в случаях с «Иваном Денисовичем» и «Архипелагом», уже не было. Этим романам явно не хватало чистоты художественного решения. Чем дальше, тем больше Александру Исаевичу этого не хватало… Впрочем, это было заметно уже в таких давно опубликованных произведениях, как «Матрёнин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Для пользы дела». Из той серии рассказов безупречно смотрится только «Правая кисть».

Самокритично признаюсь: на этих романах Солженицын как писатель для меня закончился (с одним исключением – о нём речь впереди). Ни «Август четырнадцатого», ни другие романы из пресловутого «Красного колеса» мне одолеть не удалось, и не мне одной. Скучно, далеко, безжизненно. Невкусно! Возможно, здесь одинаково виноваты и автор, и читатели: всё-таки никоим образом не устарел пушкинский упрёк в том, что мы «ленивы и нелюбопытны». Однако что есть, то есть: не читают «Красное колесо». И вряд ли будут читать.

Но был ещё «Телёнок» – «животное», как конспиративно и любовно именовала эту книгу в своей переписке Л.К. Чуковская. «Бодался телёнок с дубом». Толстенный том я прочла чуть ли не за сутки, практически не отрываясь. Опять пламенная, яростная, ни на миг не отпускающая интонация – та же, что в «Архипелаге». Захватывающий не хуже хорошего детектива сюжет: схватка отважного одиночки с вооружённым до зубов тоталитарным государством, победа над этим последним и восторженная благодарственная песнь соратникам.

Пронзительный текст. Но (как одним из первых заметил В. Каверин) –   
это нескромная книга. Она до краёв переполнена упоённым сознанием собственной правоты, безгрешности и божьей отмеченности. А подобное сознание – грех, поскольку неизбежно порождает высокомерную несправедливость по отношению ко всем другим «малым сим», и не только к ним. Не могу простить Александру Исаевичу его жестокости по отношению к Елизавете Денисовне Воронянской, себялюбивой и отстранённой оценки её жуткого самоубийства после допроса в КГБ. И всё-таки «Телёнок» – книга поразительная, перечитывать её полезно.

Помню ещё и такую вспышку своего уважительного интереса к работе Солженицына: из одной командировки в Питер я привезла его «Русский словарь языкового расширения» (1990) и поразилась объёму неустанного лингвистического труда, любви к русскому языку и постоянной заботе о нём. Другое дело, что мне (как профессионалу) практически сразу стала очевидна бесперспективность и натянутость львиной доли предлагаемой лексики, невозможность её активного употребления. К сожалению, автору не хватило не столько языкового, сколько речевого чутья, чутья к живой, постоянно рождающейся вокруг речи.   
И тем не менее: так интенсивно работать, так верить в свою работу дано единицам.

Забегая вперёд, не могу не сказать: очень сильно способствовало снижению и развенчанию солженицынского ореола его длительное невозвращение в послеавгустовскую Россию (имеется в виду, конечно, август 1991 года). На фоне мгновенного приезда множества других вынужденных эмигрантов, на фоне стремительного прилёта в осаждённый Белый дом Мстислава Ростроповича – по́зднее (в 1994 году) театральное возвращение Солженицына в Россию через Дальний Восток выглядело бледно, натужно, неубедительно. Его телевизионные передачи не слушал практически никто (это не делает, возможно, нам чести, но так было!); его выступление в Думе встретили не просто холодно, но так раздражённо и неуважительно, что стало стыдно за депутатов (всё транслировалось в прямом эфире). Да, им следовало больше уважать наше живое прошлое, проявить элементарный такт и деликатность. Но уже то, что приходится апеллировать к категориям терпения и воспитанности, говорит о когнитивной пропасти между Александром Исаевичем и тогдашней его аудиторией.

К двухтомнику «Двести лет вместе» (2002), посвящённому взаимоотношениям и сосуществованию русского и еврейского народов, у меня сложилось (вразрез со многими из моего круга общения) отношение скорее спокойное и благодарное – за объём и масштаб взваленной автором на себя работы. Некоторые страницы могут навлечь (и навлекли) на себя упрёки в антисемитизме, но Александру Исаевичу, как это нередко с ним случалось, просто не хватило такта и чутья; для моего глаза это особенно заметно в главках и абзацах, посвящённых писателям – Галичу, Бабелю, Багрицкому и другим. Не хватило ещё, на мой взгляд, фиксации и развития простейшей мысли: человек прежде всего осознаёт себя человеком, а уж потом – евреем, русским, грузином, немцем, французом… И у многих это «потом» может не наступить.

1989–1999

Трудно сейчас представить, что было в моей жизни достаточно долгое время, когда я убеждённо считала: Бродский – «не мой» поэт. Фотокопии отдельных стихотворений стали попадаться в руки ещё с конца семидесятых; доносились вырванные из контекста строки и обрывочные фрагменты; наконец, в советских журналах эпохи гласности начали печататься подборки его стихов (далеко не всегда грамотно подготовленные). Новизна и очевидная талантливость не могли не задевать, но… по слову Пушкина, «мы ленивы и нелюбопытны». Однако незнание не избавляет от ответственности. Душевная лень, инерция прежних поэтических пристрастий и привязанностей, нежелание, а возможно, и неумение вслушаться в новый мощный поэтический голос растянули моё знакомство с Бродским на целое десятилетие.

А потом… Потом открылось, подступило, нахлынуло, захлестнуло с головой. И не отпустило доселе.

Редкое совпадение темперамента, личности, дара и судьбы позволило ему превратиться в главную фигуру поэтического пространства России последней четверти прошлого века – и после его ухода это место так и осталось вакантным. В XX веке, при всём невероятном обилии порождённых им российских поэтических имён, мало кто в такой степени, как Бродский, повлиял на тенденции развития русского стиха.

Не имеет себе равных его поэтическое переосмысление опыта изгнанничества и эмиграции, философское вчувствование в трагические события столетия и в свою судьбу, разворачивающуюся на их фоне.

Это может показаться парадоксальным, но к творчеству Бродского полностью применимы те главные характеристики, которые дал раннему Толстому Чернышевский: «диалектика души» и «чистота нравственного чувства». Неожиданное и гармоничное сочетание самых противоречивых характеристик мира и себя в этом мире, столкновение и примирение знаков «плюс» и «минус» в нравственных оценках пленяло уже в самых первых его строчках и осталось с ним до последних дней:

…Мир останется лживым,

мир останется вечным,

может быть, постижимым,

но всё-таки бесконечным.

«Пилигримы». 1959

От чёрной печали до твёрдой судьбы,

от шума вначале до ясной трубы,

от лирики друга до счастья врага

на свете прекрасном всего два шага.

«Под вечер он видит, застывши в дверях…» 1962

А «чистота нравственного чувства» обнаруживается в беспощадно-критическом отношении к себе, в умении взглянуть на свою личность со стороны, глазами стороннего наблюдателя; в отваге перед лицом неизбежной (а из-за болезни сердца – внезапной и скорой) смерти; в чистоте веры и в неизменной благодарности Всевышнему:

И восходит в свой номер на борт по трапу

постоялец, несущий в кармане граппу,

совершенный никто, человек в плаще,

потерявший память, отчизну, сына;

по горбу его плачет в лесах осина,

если кто-то плачет о нём вообще.

«Лагуна». 1973

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.

«Fin de siecle». 1989

Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я

благодарен за всё; за куриный хрящик

и за стрёкот ножниц, уже кроящих

мне пустоту, раз она – Твоя.

«Римские элегии». 1981

...Имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от

то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,

похитителю книг, сочинителю лучшей из од

на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой,

слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,

обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,

белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,

одинокому сердцу и телу бессчётных постелей…

«На смерть друга». 1973

Не устаю удивляться величине шага, сделанного Бродским в развитии русского поэтического мышления; здесь он поистине равен Пушкину. Оскорбляющее иной пуританский слух обновление словаря; радикальное расширение ритмики; новое качество стихотворного образа, опирающееся на необозримое богатство уже пройденного другими пути, – «всё побывало тут»… Наконец, неизгладимое впечатление на меня произвела и производит личность Бродского – как поэта и как человека. Невероятное обаяние, харизма, магнетизм отмечаются всеми, кто его знал. Неподкупная честность, насыщенность мышления и речи, потребность в дружбе и забота о друзьях, неподдельная любовь к родителям, неизменная память о спутниках жизни, беззаветная верность поэзии, языку, Родине, отвага перед неизбежным исходом сердечной болезни до сих пор вызывают во мне благодарное сердцебиение.

Понимаю ли я все его стихи? Нет. Но с каждым годом всё больше становится тех, что понимаю.

Нравятся ли мне все его стихи? Нет. Но с каждым годом всё меньше остаётся тех, что не нравятся…

В 90-е годы не было в России прозаика более популярного, чем Сергей Довлатов. Издания его рассказов и повестей следовали одно за другим, стремительно вышло несколько собраний сочинений. Всё это не только раскупалось, но читалось, перечитывалось, расходилось на байки и афоризмы.

Чем же покорил Довлатов самых разных читателей, от простых работяг до рафинированных интеллектуалов? Его страницы излучают тот печальный абсурд существования, которым насыщена жизнь всех «лишних людей» нашей эпохи. Довлатовские персонажи, как правило, не вписываются в советский (да и в любой иной) цивилизованный мир –   
это заключённые, неудачники, алкоголики, чудаки, изгои; однако благодаря полному отсутствию морализаторства и дидактичности, а также редкой человечности интонации именно они оказываются подлинными героями своего времени.

Реабилитация человеческого существования – вот чем дорог мне Довлатов, поэтому я и перечитываю его бесконечно, особенно в грустные минуты. Мало кто из нас до конца осуществляет задуманное, побеждает все мелкие и крупные жизненные препоны и преграды, испытывает чувство «полного удовлетворения»; и Довлатов помогает смиренно и благодарно принимать то подлинно ценное, что оправдывает и благословляет нашу бедную жизнь. Наконец, заразительная стихия юмора, того юмора, которого так мало в литературе – и сегодняшней, и отдалённой от нас годами.

Покоряющее обаяние довлатовского стиля приводит на память известный афоризм Бюффона: «Стиль – это человек». В рассказах и повестях Довлатова люди, их слова и поступки становятся «живее, чем в жизни» (Лев Лосев), эмпатия текста захлёстывает с головой, и, как при встрече с каждым подлинным художником, не понимаешь, каким же образом это сделано. А ведь виртуозно выстроенные конструкции именно «сделаны»: недаром говорили, например, что у Довлатова нет ни одного предложения, где слова начинались бы с одинаковых букв.

Если есть в русской литературе последних десятилетий истинный демократизм, основанный на осознании автором, во-первых, своего несовершенства и, во-вторых, экзистенциальной общности всех человеческих судеб в мире, то обитает он на страницах Довлатова.

Чем в 90-е годы меня порадовали прежние любимцы? Все мы от души хохотали над «Кроликами и удавами» Фазиля Искандера (1987): уж очень точно и остроумно там подмечены черты полурабского существования в тоталитарном обществе, а главное – выведены многочисленные уловки кроликов в трудном деле самоутешения и самооправдания. Что до главной искандеровской прозы «Сандро из Чегема», в полном объёме дошедшей до нас в 1990 году… Вещь несомненно значимая и глубокая, при первом прочтении затягивает и поражает, но перечитывать её меня не тянуло. Слишком далека от нас психологическая подкладка персонажей, да и что прикажете делать с этой сугубо восточной, отстранённой и созерцательной философией бытия? Такое же ощущение возникало при чтении Маркеса, его знаменитых «Ста лет одиночества». В 90-е хотелось взять в руки что-то объясняющее и помогающее, на освоение полностью чужих миров попросту не хватало сил. Дядя Сандро ждёт меня где-то впереди…

Объясняющее, помогающее и ставящее новые вопросы с лихвой содержалось в последнем, коротеньком, но чрезвычайно ёмком романе Б. Окуджавы «Упразднённый театр» (1994). Неповторимая интонация и печальная мудрость вспоминающего о своём детстве и семейной истории Ванванча, за которым легко угадывался автор, вели к предчувствуемым, но всё равно неожиданным выводам. Кроме развенчания революционного прошлого отцов, которые, по словам Окуджавы, «сами собрали машину, которая их раздавила», в романе отчётливо ощущается любование этими людьми, любование их отвагой, бескорыстием, самозабвенной верностью пусть ложным, но высоким идеалам.

В 1989 году впервые стала доступной широкому читателю поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». Никогда на моей памяти советские люди столько не пили, как в 80-е; бутылка водки, полученная к тому же по талону, превратилась в поистине универсальную валюту, выручавшую в любых жизненных сложностях. Абсолютно ясно, что на фоне этого всеобщего гомерического пьянства поэма обрела широчайшую, временами просто безумную популярность. Цитаты, соответствующие тосты, рецепты коктейлей (особенно востребованной оказалась «Слеза комсомолки») на всех вечеринках и тусовках сыпались как из ведра (с той же водкой). «И немедленно выпил!» Лучшим подарком для любого похода в гости в те времена была книжка Ерофеева.

И неудивительно. В поэме подверглись снятию и были иронически обыграны едва ли не все условности и стереотипы советской прозы. Новый язык, новая реальность, новый герой… Воспитанных в позднесоветской школе читателей пленяло снижение, развенчание и переосмысление набивших оскомину «высоких образцов» советского стиля, застывших формул на глазах уходящей в прошлое эпохи:

…Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчёркнуто грубы в те самые мгновенья, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы навыпуск, когда он малодушен и тих? Почему так?! О, если бы весь мир,   
если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив и был бы так же ни в чём не уверен: ни в себе, ни в серьёзности своего места под небом – как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! – всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигам. «Всеобщее малодушие» – да ведь это спасение от всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства! А что касается деятельного склада натуры...

(Из главы «Москва. Ресторан Курского вокзала»)

(Возможно, молодому читателю потребуется пояснение: «В жизни всегда есть место подвигам» – культовая цитата из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль», входившего в программу средней школы.)

Но потом… Из моих студентов начала 2000-х практически никто этой книгой уже не восхищался, да и читали-то Ерофеева немногие.   
А мы перестали его перечитывать. Так и остались «Москва – Петушки» великолепным памятником позднезастойной эпохи. Жаль, но, пожалуй, такая судьба ерофеевскому шедевру была заранее уготована. Большинство из нас не были и не могли быть «чистыми жертвами» действительности, жертвами по призванию. Веничка же именно таков.

Истосковавшийся по смелой сатире советский читатель жадно проглотил первую часть романа В. Войновича «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина». Но по мере дальнейшего знакомства с романом хохот утихал. Всё-таки при всей моей любви к таким произведениям Войновича, как «Шапка» (1987) и «Иванькиада» (1989) в «Чонкине» чувствуется некая натужная второстепенность и юмора, и сюжета, и художественных находок. Кроме того, не доросло наше общество (и я вместе с ним) до такой кощунственно-свободной насмешки над Великой Отечественной, да ещё над её самыми трагическими первыми днями… Не смешно!

Среди писателей, дебютировавших в 90-е и продолжающих активно работать в следующем тысячелетии (!), я в той или иной степени познакомилась с произведениями Л. Петрушевской, Б. Акунина, В. Пелевина, А. Иванова, Е. Водолазкина, Д. Рубиной, Т. Толстой, Л. Улицкой. Увы! Все, кроме двух последних, оставили равнодушной – правда, по разным причинам.

Не могу не отдать должное резкому и саркастическому таланту   
Л. Петрушевской, но читать её так тяжело, что одолела я лишь мизерную часть богатого и разнообразного творчества. Пусть простит меня Людмила Стефановна, но поменьше бы мрака! После Ваших деталей, подробностей, инвектив и обличений просто жить не хочется. А жить, как известно, надо. И иногда этот процесс (в отличие от Ваших книг) бывает добрым, интересным и весёлым.

Люблю Григория Чхартишвили, книгу «Писатель и самоубийство» неоднократно перечитывала. И совершенно равнодушна к Б. Акунину, многотомным проектам «Сыщик Фандорин», «Сыщица Пелагия» и подобным. «Что он Гекубе, что ему Гекуба?» Даже как детективы эти произведения меня не заинтересовали: слишком далёкая от повседневных нужд и страстей интрига, медленно и вязко разворачивающаяся.

В своё время порадовалась роману «Жизнь насекомых» (1993) – искренности интонации, тому, что образный строй не высосан из пальца, а «увиден» внутренним взором художника. К сожалению, поздний Пелевин не вызывает у меня никакого аппетита, особенно после романа «Generation П»: утомительно, натужно, тяжело и, в сущности, бьёт мимо цели.

В очередных летних отпусках попались два романа Дины Рубиной –   
«Синдром Петрушки» и «Белый ветер». Ну не тянет меня читать об изображённых там проблемах и о людях, которые их решают! Всё это идёт не из сердца, не из души, не из неодолимой потребности высказаться. Ремесло, которое кормит. Что ж, ремесленница она хорошая. Уже немало.

Даже Е. Водолазкин не заставил ни задуматься, ни вздохнуть, ни улыбнуться. Пусто… Удивляет выбор героев, подобранных где-то на обочине жизни, натужная вымышленность сюжетов, а главное – дальность расстояния от подлинных жизненных проблем. Радует только язык да, кроме того, острота и плотная осязаемость воспоминаний автора о знаменитом Пушкинском Доме. Дмитрия Сергеевича Лихачёва мне довелось видеть и слышать лично, его человеческая индивидуальность, научные и публицистические труды, а особенно трагически невозмутимые «Воспоминания» не могут не восхищать, поэтому живые впечатления коллеги от совместной с ним работы и деятельности всегда притягательны. А «Брисбен», «Авиатор»… Из хорошо оснащённой пушки – по мелким воробьям.

Ю.В. Трифонов вспоминал, как в 1950-е годы один из мэтров советской литературы любил задавать студентам Литературного института имени М. Горького после публичного прочтения их опусов на творческих семинарах сакраментальный вопрос: ну и что? Вот и меня тянет спросить нечто подобное…

Когда-то, ещё в 1986-м, восхитили рассказы Татьяны Толстой, особенно «Факир», интонация и юмор которого мне особенно близки. Но потом, потом? То ли преподавание в американских университетах отвлекло автора, то ли скепсис чрезмерный помешал. Где разворот, где шаг дальше и вперёд от «Кыси» и «Не Кыси»? Печально. Не спасает даже наследственно роскошная и богатая языковая ткань. «Проза требует мыслей и мыслей, без них блестящие выражения ни к чему не служат».

Перелистываю новинки уже нынешнего, 2020 года – те, которые при беглом визуальном знакомстве потянуло купить: «Дни Савелия» Г. Служителя и «Текст» Д. Глуховского. Повествование с точки зрения кота, представленное в первой книжке, в литературе далеко не новость, да и до Гофмана дебютанту далеко, но выстроен текст неплохо. Диалог же с телефоном убитого, на мой взгляд, блестящая находка Глуховского и полностью в духе времени. Сразу последовавшая экранизация до книги явно не дотягивает. Чуть бы поглубже, однако, копнуть автору характер главного героя: недаром харизматичному мачо Александру Петрову почти нечего играть. Перечитала также в связи с только что прошедшим по телеэкранам скандальным сериалом пресловутую «Зулейху» (Г. Яхина. «Зулейха открывает глаза»)… Прямо скажем: популярность всех этих вещей во многом обусловлена скудной бедностью литературного пейзажа. На безрыбье, как известно, и рак может показаться севрюгой, а то и осетром.

Кого тянет снова и снова искать на забитых до отказа книжных полках? Улицкую.

Не скажу, что я в полном восторге от её первых рассказов, романов «Казус Кукоцкого» и даже «Лестница Якова». Но вот «Даниэль Штайн, переводчик» и «Зелёный шатёр»… Мало кому удалось так убедительно и захватывающе интересно показать динамику рождения и развития религиозного чувства, а также способ его реализации на протяжении жизни. История же советского диссидентства волнует меня по сию пору, и предпринятое в «Зелёном шатре» его всестороннее исследование представляется не просто удачной и честной, но и очень глубокой попыткой.

Слом эпох, произошедший в России в 1991-м, далеко не все люди искусства приняли с оптимизмом и радостными надеждами, к тому же надежды эти слишком у многих потерпели трагическое крушение. Сказать, что я этого не замечала, было бы несправедливо; просто мой позитивный душевный баланс сохранялся несколько дольше, а пожалуй, он остался таковым и по сию пору. Однако не видеть волны самоубийств молодых поэтов, прокатившейся по России в конце XX – начале XXI века, было невозможно. В 2014 году в Москве состоялись уже Третьи (!) литературные чтения, посвящённые их памяти: Борис Рыжий (2001), Ника Турбина (2002), Денис Новиков (2004), Кирилл Савицкий (2011), Евгения Кузнецова (2011)… Докладчики рассказали о 30 молодых стихотворцах, добровольно ушедших из жизни с 1991 до 2014 года. Поэтическая Россия дорого заплатила за смену экзистенциальной парадигмы эпохи.

Тёмные слухи ходили также о кончине Татьяны Бек (1949–2005): в 2005 году ей не исполнилось и 56-ти. Говорили, что она не выдержала предательских действий тех своих сотоварищей по писательскому цеху.

В растерянном, трудном, нервном 1992-м я с изумлением прочитала газетную подборку стихов совершенно неизвестного мне доселе Дениса Новикова, в которой он в числе прочего дал пронзительно точную характеристику тогдашней России:

РОССИЯ

...Плат узорный до бровей.

А. Блок

Ты белые руки сложила крестом,

лицо до бровей под зелёным хрустом,

ни плата тебе, ни косынки –

бейсбольная кепка в посылке.

Износится кепка – пришлют паранджу,

за так, по-соседски. И что я скажу,

как сын, устыдившийся срама:

«Ну вот и приехали, мама».

Мы ехали шагом, мы мчались в боях,

мы ровно полмира держали в зубах,

мы, выше чернил и бумаги,

писали своё на рейхстаге.

Своё – это грех, нищета, кабала.

Но чем ты была и зачем ты была,

яснее, часть мира шестая,

вот эти скрижали листая.

Последний рассудок первач помрачал.

Ругали, таскали тебя по врачам,

но ты выгрызала торпеду

и снова пила за Победу.

Дозволь же и мне опрокинуть до дна,

теперь не шестая, а просто одна.

А значит, без громкого тоста,

без иста, без веста, без оста.

Присядем на камень, пугая ворон.

Ворон за ворон не считая, урон

державным своим эпатажем

ужо нанесём – и завяжем.

Подумаем лучше о наших делах:

налево – Маммона, направо – Аллах.

Нас кличут почившими в бозе,

и девки хохочут в обозе.

Поедешь налево – умрёшь от огня.

Поедешь направо – утопишь коня.

Туман расстилается прямо.

Поехали по небу, мама.

И этот поэт ушёл из жизни в 37 лет.

А Борис Рыжий, на 27-м году повесившийся – как Есенин? Масштаб его таланта, пожалуй, поменьше новиковского, но искренность, напор, страсть, трагическое раскаяние в ошибках, точная характеристика своего поколения...

Печально. Пожалуй, наше поколение, вошедшее в жизнь сразу после Великой Отечественной, оказалось более жизнестойким. Возможно, спасла оттепель, пришедшаяся на пору юности? Был плюс, последовавший после жуткого сталинского минуса, и память об этом плюсе давала силы перенести спуск к очередному минусу, а также сохранить надежду на следующий плюс…

«От всего человека вам остаётся часть речи…»

(вместо послесловия)

Автор полностью отдаёт себе отчёт в том, что у него получились заметки читателя не только советского (и постсоветского), но и провинциального. Нижний Новгород, Горький, несмотря на свой миллионный объём, промышленную значимость, количество вузов и географическую близость к столице, долгое время в силу своей закрытости (из-за обилия оборонных предприятий) оставался провинцией. Все общественно значимые факты и события доносились до нас позже и глуше; не хватало информации, не хватало интенсивности сиюминутных обсуждений, не хватало общественного действия. Может быть, однако, здесь кроются и некоторые преимущества? Воскликнул же один из моих приятелей, нижегородский писатель Олег Рябов:

Да здравствует провинция,

Где каждый день – отрада,

Что никогда столицею

Не будет – и не надо…

Опоздание отклика и реакции вовсе не исключает глубины и нестандартности осмысливания.

Происшедшая и длящаяся на наших глазах информационная революция изменила облик и характер вербальной культуры. Россия, в соответствии со своими историческими привычками, бросилась в эту революцию с головой и если не захлебнулась, то воды наглоталась порядочно. Пришёл конец не только нашей прославленной литературоцентричности, но также немаловажным факторам, которые эту литературоцентричность пестовали и поддерживали:

- неторопливому нарративному чтению;

- тщательной словесной отделке и вербальному профессионализму;

- ожидаемой предсказуемости ассоциаций, порождаемых художественным текстом.

...и при слове «грядущее» из русского языка

выбегают мыши и всей оравой

отгрызают от лакомого куска

памяти, что твой сыр дырявой.

После стольких лет уже безразлично, что

или кто стоит в углу у окна за шторой,

и в мозгу раздаётся не неземное «до»,

но её шуршание. Жизнь, которой,

как дарёной вещи, не смотрят в пасть,

обнажает зубы при каждой встрече.

От всего человека вам остаётся часть

речи. Часть речи вообще. Часть речи.

Иосиф Бродский